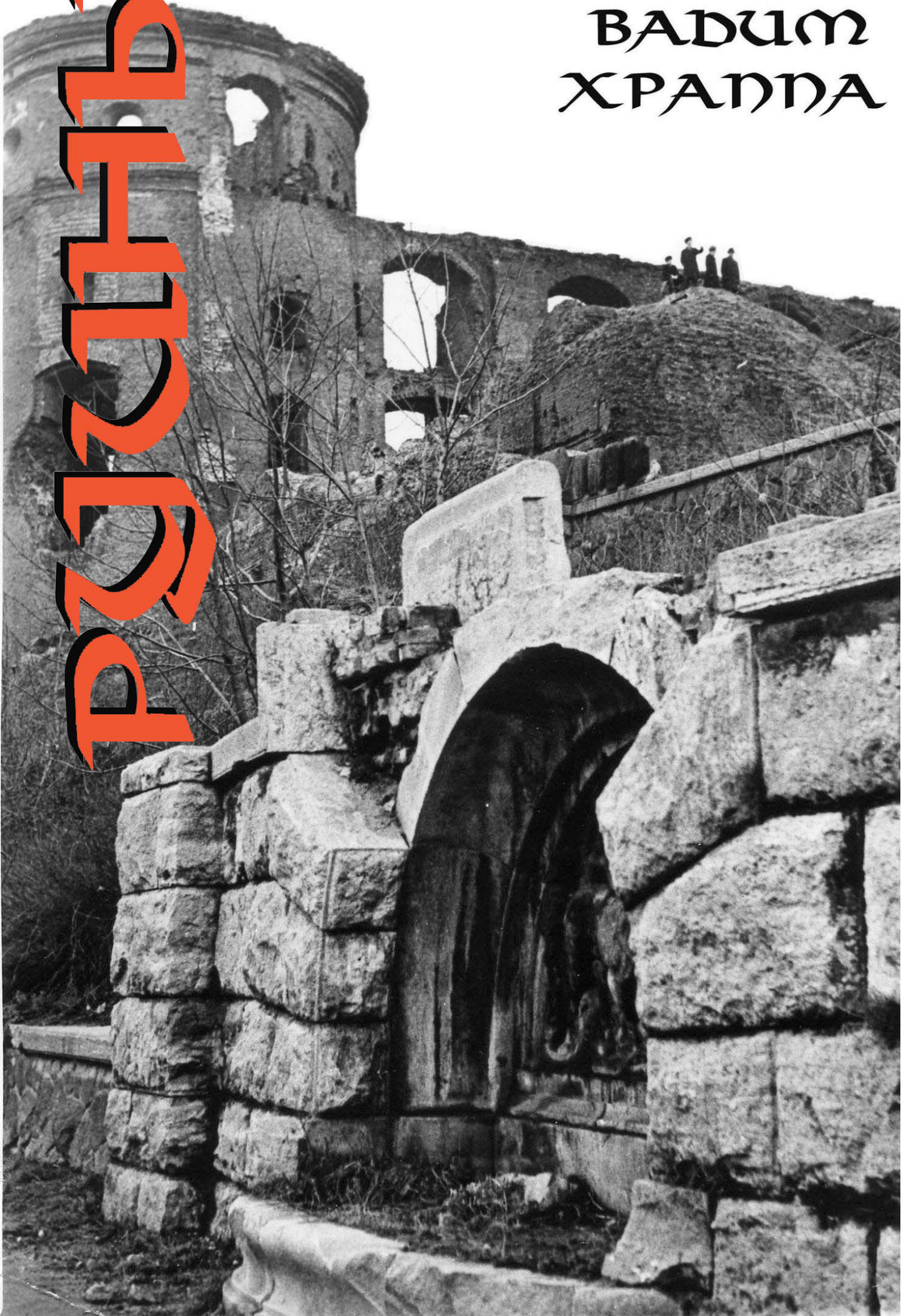


BADUM
ΧΡΑΝΝΑ

ΠΡΟΤΕΡΑ



Вадим Храппа

Руины

«Автор»

2020

Храппа В. В.

Руины / В. В. Храппа — «Автор», 2020

Начало восьмидесятых прошлого века. В Империи Советов окончательно воцарился Маразм. А повседневная жизнь его подданных в городе Гофмана стала напоминать картины Иеронима Босха.

© Храппа В. В., 2020

© Автор, 2020

Содержание

Вадим Храппа	5
Розовая чайка	6
Котя	10
Руины	13
Артист Новиков	16
Серые ночные кошки	20
Когда-то в кафе	22
Сказка о Великом Народе	23
Когда тебе восемнадцать	24
Потехин	37
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Вадим Храппа Руины

Однажды мне в руки попала призма.

Я не знал, что с ней делают, но она мне нравилась – маленькая, трапециевидная, с двумя матовыми, и четырьмя зеркально прозрачными сторонами.

И я всегда таскал ее в кармане, и забавлялся ею, когда совсем уж нечего было делать. Она мне нравилась – маленькая и стеклянная.

Однажды я вспомнил, что есть такое выражение: «Взглянуть сквозь призму», и взглянул.

Сначала на деревья, и листья на них стали разноцветными, и стволы и ветки – в радужных полосах и пятнах. Они стояли и звенели ярко-красными-синими-желтыми-флуоресцентными листьями. Потом на людей. Они танцевали в радужном сиянии и смеялись. Они целовались в радужных ореолах и пели. Я засмеялся вместе с ними, мне показалось, что у всех, у нас начали распускаться крылья, шелестя смятыми складками. И мне захотелось взглянуть в другое окошко, я думал, что оно сделает нас с вами еще прекрасней, еще красочней, еще мелодичней.

Я взглянул, и мне стало страшно. И деревья стали голыми.

И люди раздвоились.

Один человек каждого человека еще держался, у него были крепко сжаты челюсти и кулаки. Мы еще продержимся, говорила его Решительность, еще не все потеряно! Они стояли, наклонив, по-кабаны, вперед головы, и они ходили, наклонив вперед головы, и сшибали кулаками, и лбами друг друга, и своих вторых человек, которые слепо тыкались носами в огромные стены лабиринта, друг в друга, в своих первых, решительных человек, и в голые, скрипучие деревья. Им уже ничего не было нужно, они были мертвыми и слепыми, и бездушными, и нерешительными. Им уже ничего не нужно было решать, они знали, что это ни к чему не приводит. Их уже не было. Но они все еще путались под ногами друг у друга, и мешали держаться своим первым человекам. Мне захотелось плакать, и я поскорее перевернул призму третьей стороной, я думал – там красиво, как в первой, я хотел видеть, как у людей растут крылья и как они любят друг друга, но когда я заглянул туда, я чуть не сошел с ума.

Деревья стояли похожие на обугленные кости, и тихо обсыпались золой и трухой. Вместо листьев, на них висели черные блестящие черви. И у людей, вместо волос, тоже были черви, но только красные, багровые от крови. Черви-паразиты, они сидели у людей на головах и питались кровью, которую люди пили друг из друга. Цивилизацию каннибалов, увидел я в этом окошке. Черви сосали кровь, и людям ее требовалось все больше и больше. У них были огромные головы, состоящие из одного рта – черного, залитого кровью, провала. Они хватали друг друга, впивались дырой рта в тщедушные тела, и тела эти лопались со слабым треском, и на глазах высыхали, и сытые головы становились еще больше, рты – еще огромней, еще толще и жирнее становились черви на них.

Мне показалось, что и мои волосы зашевелились, я почувствовал, что они стали высасывать мозги, чтобы их место занял рот, и я закричал, и бросил призму на пол.

В четвертое окошечко я тогда не посмотрел.

И не смотрел никогда после.

Я его боюсь, этого четвертого окошка.

Но и в первое мне тоже смотреть уже не хочется.

Зачем? Ведь есть такие ровные, матовые стороны, в которые так хорошо ничего не видно.

Розовая чайка

Он был неплохим поэтом.

Не плохим.

По крайней мере, все так говорили. Он и сам это знал. Он был не хуже других. По крайней мере. Это уж – наверняка.

Недавно у него вышла четвертая книга, сборник. В местной прессе похвалили. Как всегда. В московской, как всегда обошли вниманием. Ну и что? Он и сам знал, что переворота в литературе не совершил и никогда не совершит. Ну и что? Он был просто неплохим поэтом. По крайней мере, он честно делал свое дело. Без крайностей и всякого рода модернизмов писал крепкие, как хорошие грибы, стихи. Две песни сделал. И этого ему хватало. Он был доволен жизнью. Умерен в ней. Пил в меру, ел – тоже, и вообще, он был неплохим человеком, хоть и холостым. И неплохим поэтом.

И он думал, что неплохо бы провести отпуск где-нибудь в тиши, в глуши, где шумят камыши. Неплохо, да? Он знал, что где-то в этой тональности он и сделает свое первое стихотворение оттуда, из тиши, с побережья Самбии. Такие сочетания «ши, шу, ша» всегда попадали в струю его настроения. У него почти всегда были такие настроения. Слышите: «тишина шуршит шагами...» И многоточие... Оно тоже какое-то шепотное.

У его друга прозаика был какой-то там отчий дом, в котором никто не жил. Это на западном берегу, возле Янтарного. Кроме мышей, которые, впрочем, тоже на «ши». Когда Поэт туда приехал, то решил, что это как раз то, что нужно. Далеко вокруг не было никакого жилья. Километрах в трех шипело море. Немного холодно и сыро. Но за домом в сарае была поленница. И, после того, как Поэт протопил потрескавшуюся печку, в доме стало уютно. Даже дым, тонкими струйками выползавший через трещины серой штукатурки печи, ложился на пол и тоже придавал уют. Печь стояла недалеко от двери, так что дым, полежав на полу, все равно, хотел он того или нет, вытягивался через щель во двор. Он не мешал Поэту.

Ничего ему здесь не мешало.

И он ничего не трогал. Только немного подмел и смахнул со стола пивные пробки и желтые газетные клочья со следами закуски. Пауков по углам не тронул. Они ему не мешали. Он их не боялся. Он боялся крыс, а их тут не было. Но это так, к слову. Но если б тут были крысы, он бы уехал. Поэт не хотел, что б ему хоть что-то мешало. Он собирался отдохнуть от города и всего, что ему сопутствует. Крысы не обязательно примета города, но все равно, они бы мешали. А Поэт этого не хотел.

Он тихо жил уже вторую неделю и ничего ему не мешало. Ни разу около своего жилья он не видел ни одного человека. А сам только раз ходил в деревню. За хлебом. Это ему понравилось.

Вот так: раз в неделю выйти к людям, купить хлеба, медленно попить пива на скамеечке под мокрой липой, съесть заочневший пирожок с треской, разглядывая бодрых деревенских воробьев, и подрагивание, обтянутых узкой выцветшей юбкой, тугих ягодиц молодухи в китайской телогрейке – это здорово! Раз в неделю. А потом снова сидеть у себя в доме, наслаждаясь тишиной. Или бродить по полям и рошицам. Так, безо всякого дела. Просто бродить. Подойти к морю. Подумать над тем, почему оно каждый день другого цвета – от белого стального до черного?

Поэт кидал чайкам хлеб, и мысли, как попало, осенними сонными мухами ползали в его голове. И ему все это нравилось. Чайки ругались и дрались из-за хлеба. Дуры, конечно. И они ему нравились. Море слабовольно выползало волной на песок. Это ему тоже нравилось. Ветра не было. Легкой марлей в воздухе висела морось. Все ему нравилось.

Он полез в карман за хлебом, и вдруг увидел чайку, которая не скандалила и не дралась из-за хлеба.

Она просто летала большими кругами. Пикировала к воде и опять взлетала. Казалось, она летала, чтобы просто летать, и ей было наплевать на его хлеб. Но удивительным было не это. Чайка была розовой. Ему показалось, что нечаянно выглянуло солнце. Поэт даже повертел головой в его поисках, но везде по-прежнему бы дождь. А вверху летала розовая независимая чайка. Все черно-белое и одно – розовая чайка в сизом небе.

Как сон.

Поэт пришел домой и его уже не радовали тишина и уют. Что-то было не так. Что-то случилось.

Он никогда не видел таких чаек. Почему она была розовой? Те, которых он знал, белые крикливые и дурные. Эта другая. Но не это выбило его из шуршащего настроения. Не то, что она розовая. Вернее, не только это. Что-то еще, чего он пока не сознавал.

Когда Поэт уснул, ему снилась летящая розовая чайка.

И он – с ней рядом. Ну, не совсем рядом, а так, что в небе только ты и чайка. А белые дуры клевали внизу хлеб.

И еще он видел внизу людей.

Они его не видели и занимались своими делами. И они были похожи на белых чаек. Особенно вон те двое, которые дерутся, чтобы посидеть на стуле. И вон тот, что бежит с папочкой бумаги подмышкой. Он так похож на белую чайку, которая украла кусочек хлеба у остальных белых! Господи, да это же Прозаик!

Поэт засмеялся. Ему было смешно. Как все они глупы эти чайки и люди. И его друг. Они никогда не летали вот так, чтобы в небе только ты и розовая чайка. Они ничего об этом не знают.

И Поэт смеялся.

Он хотел подлететь ближе к чайке, чтобы спросить ее о чем-то, но не успел. Увидел у себя в крыльях все свои сборники и почувствовал, что не может больше лететь. Книги мешали ему. Они были тяжелыми и сковывали движения. Поэт понял, что нужно выбросить их, но было жаль. Было жаль потому, что он знал, их будет больше не вернуть. Книги заберет его друг Прозаик, или еще кто. Кто подоспеет.

Поэту стало страшно, и он проснулся.

Он никогда так не просыпался. Ни разу в жизни. Иногда с ним случались странные сны, но наяву и так еще не было. Он знал, что летал на самом деле. Знал! У него даже руки гудели от усталости. Он летал! Никакой это был не сон. Он летал!

И вдруг он увидел на столе свой последний сборник.

Вот почему он проснулся! Вот из-за чего он не остался там, в небе с розовой чайкой.

Поэт схватил книгу, собираясь швырнуть ее в печку, и услышал далекий слабый звук. Будто ребенок вскрикнул. Он резко повернулся к окну. Там, в предрассветное небо улетала розовая чайка.

Поэт как был, в одних трусах, выскочил во двор, но чайки уже не было. Он долго стоял, вглядываясь в сумрак, потом замерз, и вошел в дом. В руках у него все еще была книга. И он вдруг ясно понял, что никогда больше не полетит.

Утром Поэт пошел к морю.

Белые чайки слетались всей оравой. Их было больше, чем вчера. Вчера их было больше, чем позавчера. Их с каждым днем становилось все больше. Наверное, они всем рассказывали, где можно без труда пожить и к Поэту слетались все их друзья и родственники. И требовали хлеба. Они настойчиво кричали и заглядывали ему в глаза. И они не понимали, почему Поэт их сегодня не кормит? А он смотрел на розовую чайку.

Она летала так же, как вчера, наслаждаясь полетом. Розовая, недостижимая для белых.

Он отвернулся и быстро пошел назад. Поэт не мог на нее смотреть. Он не мог себе простить, что не выкинул тогда книги.

Пришел, уселся, не раздеваясь, на кровать и стал разглядывать свои сапоги. Нечищенные, серые. Тяжелые. В доме было не топлено, холодно. Из рта шел пар. Клубился, стоял в воздухе плотным комком. А печь растапливать не хотелось. Было сыро и холодно, и ничего не хотелось делать. Есть тоже не хотелось, но Поэт оторвал от черствой буханки колючий кусок и стал жевать. От нечего делать. Он сидел на кровати и жевал хлеб, как белая чайка.

Поэт вскочил и выплюнул хлеб в помойное ведро. И снова сел на кровать, прислонившись к сырой шершавой извештке стены.

Потом он так и заснул.

У него опять были крылья. Но только теперь книги приклеились к ним. Поэт стоял на земле, силясь оторвать тяжелые крылья от книг, и не мог.

А в небе летала розовая чайка.

А он стоял на земле.

А вокруг деловито сновали белые чайки и люди. У некоторых во рту был хлеб. Некоторые еще не имели его и дрались, и кричали. И Поэт понял.

Поэт понял, что нужно. Нужно выбросить старые крылья вместе с книгами и сделать новые. Пусть он потратит на это всю жизнь, лишь бы успеть взлететь. Успеть взлететь!

Он еще раз взглянул на розовую чайку и бросил крылья в море. Те сразу утонули. Книги были тяжелыми. Потом проснулся, собрал вещи и пошел к автобусной остановке.

Прошло много лет.

Стоя на краю обрыва между морем и небом Поэт прекрасно понимал, что вместе с ним сюда пришли и его одышка, и боли в спине, и прочие спутники одряхления. Но ему было наплевать на них. В сером небе он видел парящую розовую чайку. А внизу был шторм. Белые чайки, одуревшие от шума волн, оголтело и бессмысленно метались вдоль прибоя.

Только розовая спокойно и плавно кружила.

Поэт набрал полную грудь воздуха и прыгнул.

И полетел.

Он полетел!

Секунды две он чувствовал удивительную легкость. Будто не было стольких лет за спиной, стольких лет ходьбы по земле. Будто он только что родился с этими крыльями. Будто не было тех пошлых сборников стихов... И, только он вспомнил о них, тут же страшно испугался – вдруг они здесь?

Поэт судорожно посмотрел на конец крыла и, еще не успев ничего разглядеть, почувствовал, что книги тянут вниз.

Он даже не разбился. Даже это ему не было суждено.

Он собрал обломки крыльев в кучу и, не глядя на чайку, ушел.

Поэт много дней не выходил из дома. Потом вышел спокойный, сосредоточенный и сразу направился в деревню. Поставил мужикам пиво, узнал, где можно раздобыть ружье, расплатился за него водкой и к вечеру вернулся.

Он попал сразу.

Чайка, так величественно летавшая только что, упала, безобразно барахтаясь в воздухе. Упала прямо в кучу из сломанных крыльев Поэта. Она была без головы.

Поэт засмеялся и перевернул ее носком сапога. Розовые перья топорщились, крылья пообломаны. И вообще, не поймешь: была ли она розовой? Вся в песке. Чайка как чайка, только головы нет.

Он принес канистру с бензином и облил всю кучу. Потом поджег и пошел домой. Спать.

Ему приснилось, что с неба упала голова розовой чайки. Упала в костер и подняла тучу искр. Одна из них залетела через открытое окно в дом и попала на полотенце. Дунул сквозняк, и полотенце вспыхнуло.

Поэт сгорел вместе с домом, так и не проснувшись.

Кёнигсберг, июль, 1981

Котя

Где-то он читал, что у сна есть фазы: быстрый сон и медленный. Медленный, якобы, и есть тот глубокий сон, во время которого нам ничего не снится. Все снится нам во время быстрого сна. Это всего каких-то несколько минут. Так он где-то читал. Но когда утром просыпаясь, а за плечами у тебя чуть ли не целая жизнь, прожитая во сне, не верится, что ты жил ею всего каких-то несколько минут. Он сомневался в том, что понаписывали ученые. Откуда они знают? Кто из них видит сны с секундомером в руках? А кто из них может видеть сны подопытного? В то, что ты проживаешь за ночь десятки жизней, мало верится.

Он проснулся, нащупал на полу будильник, поднес к глазам. До звонка оставалось семнадцать минут. Встать, что ли? – подумал. Вернее, хотел подумать, потому что, додумать ему не удалось – он опять уснул.

И проснулся уже от звонка.

– Скотина, – сказал, накрывая будильник ладонью.

Он лежал с закрытыми глазами и думал: сколько ни посвящается статей стрессам, а о том, что люди каждое утро до смерти пугаются собственных будильников, и о том, сколько эти самые будильники отнимают лет жизни у человека, никто не пишет. Ну, конечно, будильники помогают вовремя прийти на работу. А своевременный приход на работу обеспечивает...

И вдруг он вспомнил свой сон. Весь сразу, хоть так и не бывает. И еще понял, что теперь этот сон ему никогда не забыть.

Он отчетливо видел лицо, глаза, волосы той, которую он так любил во сне. Она была идеальной. Он столько лет убил на поиски идеала, на поиски той единственной, на которой мог бы, наконец, жениться, а она пришла к нему во сне. Он очень хорошо ее помнил, помнил все ее тело. Очень белое. Странно, ведь ему всегда нравились загорелые тела. Белое – до лучистости. Розовые соски, синие глаза, пепельно-русые волосы, длинные и пушистые, они волновались морской пеной. Распахнутый халат. Легкий, скользящий, в маленьких голубых цветочках – незабудках, и они даже пахли, и на них были видны оранжевые крошечные пестики.

Еще он очень хорошо помнил маленький бледный шрамик на левой груди возле соска.

Стук в дверь.

– Ты будешь вставать или нет? – спросила мать. – Уже восьмой час!

– Сейчас, – сказал он.

Хотелось снова уснуть и окунуться в то счастье, которое он пил, обнимая ее. У них даже ничего и не было. Был только маленький бледный шрамик возле левого соска, очень белый бархатный живот, пепельные волосы и синие глаза. И халат – распахнутое поле незабудок.

Мать, уже без стука, толкнула дверь и включила свет.

– Ну-ка, вставай!

Ему пришлось открыть один глаз.

– Встаю.

– Я не уйду, пока ты не встанешь!

– Мать, давай купим электрический будильник. Он, говорят, милосерднее.

– Вставай.

Она большим пальцем открыла ему второй глаз.

Он громко застонал и опустил ноги с дивана.

Мать ушла на кухню.

Откуда во сне этот шрам?! Что за глупость?! Раз все так идеально, то к чему этот шрам? Хотя, он очень даже к месту. А может Она и в самом деле где-то живет? Глупость.

Ему стало тоскливо. Оттого, что Ее наверняка нет на свете.

Сны сбываются с четверга на пятницу. А сегодня среда. Со вторника на среду.

Вот если я сейчас включу приемник, и будет хорошая музыка... , значит, Она есть?..
Он поднес палец к клавише, но включить не решался. Будет или не будет? Есть Она или нет?

– Яичница стынет, – зло крикнула из кухни мать.

Он нажал.

– ...заповнэня мажень, – сказал диктор, и еще не успел договорить, МакКартни взял на рояле первые аккорды «Лэт эт би».

– Лэт эт би, лэт эт би-и! – пел МакКартни.

Потом он пел «Естудэй». Пришлось выключить, не дослушав. Можно было опоздать на работу.

Все равно опоздал. Сломался троллейбус.

"Черт с ней, с работой", – подумал он неожиданно для себя. Хотя еще можно было бы успеть.

"Черт с ней!"

Чувство безразличия, смешиваясь с каким-то беспокойством, покалывало изнутри. Одежда казалась лишней, натирала кожу складками, покусывала, как войлок.

Он походил по парку королевы Луизы, вкапываясь ботинками в толстый слой листьев, и те пересыпались, шурша желтым снегом.

На скамье под старой дуплистой липой сидела и курила крепенькая розовощекая девушка. Кругля пухлые губы, она выпускала колечками дым, и бездумно пинала ногой в ярком полосатом вязаном чулке кучку листьев. По привычке он, было, подумал подойти и познакомиться, но позыв был вялым и безжизненным, как листья под ногами, и угас.

Девушка подняла голову, и он махнул ей рукой. Та улыбнулась и ответила, поведив в воздухе пальчиками с сигаретой. Они прощались, не встретившись, и обоим было немного жаль несостоявшейся игры в любовь. Но было и приятно оттого, что можно испытывать сожаление к тому, чего нет.

Листья все сыпались и сыпались с лип, с кленов...

На асфальтовую дорожку они падали со стуком, на кожу куртки – с шелестом, поглаживая сухими, как у старой любовницы, руками. Сухими, жажущими и бесплодными.

– Котя, Котя!.. – услышал он высокий, уставший звать, голос.

Из-за бурой, поросшей мхом эстрады вышел мальчик лет четырех. У него, как у осени, были длинные волосы цвета скошенного поля и светлые глаза.

– Котя, Котя!.. – звал он, чуть не плача.

– Кого ты ищешь?

– Цветок. Маленький такой и синий. Незабудка. Вы не видели?

«Видел, – хотел сказать он. – Я видел сегодня много маленьких синих цветов, – хотел бы сказать он. – Я их тоже ищу».

Но он этого не сказал. Только сочувственно помотал головой. У этого мальчика наверняка был свой цветок, не из тех, распахнутых.

– Твой цветок зовут Котя?

– Да, Котя. Если Вы где-нибудь увидите его, скажите, что я ищу, ладно?

– Скажу.

– Я уезжал к бабушке и забыл его полить, а он обиделся и ушел. Его зовут Котя.

Мальчик мог расплакаться.

– Хочешь жевательную резинку?

Тот отвернулся и пошел. Листья взлетали из-под его маленьких туфель.

– Твой Котя вернется, вот увидишь! Ты только не забывай чаще его поливать!

Мальчик повернулся, не останавливаясь, и кивнул.

Сыпались сверху листья.

Под аркой у самого выхода он встретил ее.

Она разглядывала чахлые розы на коротких стеблях в окне киоска. Молодая раскрашенная продавщица зевала большим ртом.

А она, ничего не купив, отошла в сторону.

Она стояла спиной, но он сразу понял, что это Она.

И Она тоже его почувствовала и обернулась, и они встретились глазами.

Это была Она. Только со времени сна она состарилась лет на двадцать. От поля незабудок остался только легкий шарфик.

Он хотел уйти, но не смог и подошел.

Она хотела сделать вид, что не знает его, но у нее не хватило сил.

Пустыня шелестела под их ногами своими осыпавшимися лет двадцать назад коричневыми листьями. Пустыня шириной в двадцать лет пути.

Потом Она пошла, зная, что он пойдет за нею. И шла все быстрее и потом побежала.

Прохожие оглядывались на них.

Шрама уже почти не было видно, только бледное пятнышко напоминало о нем.

– Принеси попить.

Она встала с постели и направилась к кухне, но, заметив, что он смотрит на ее тело, накинула халат и стянула его поясом. Халат был махровым в больших красных маках.

Он отвернулся.

Она принесла воды.

«Хорошо бы пива», – подумал он.

Незаметно стемнело.

В сумраке комнаты он почувствовал, что ей хочется провести рукой по его лицу, но она не решается. Он взял ее руку и положил себе на глаза. Она его целовала, и ее лицо было мокрым и соленым, а руки – сухими.

Он ушел, когда она еще спала. Магазины были закрыты, но очень хотелось пива. Он думал, что если не выпьет пива, то, наверное, умрет. Язык прилипал к небу, как к топору в мороз, и во рту был отвратительный медный привкус. Он сел на ящик у входа в магазин и стал ждать.

Когда полез в карман за сигаретами, рука нащупала ее шарфик.

Пламя накинулось на незабудки так жадно, что он едва успел отдернуть руку.

Когда открыли магазин, оказалось, что пива там нет.

– О, Боже! – сказал он продавщице. – Как же вы живете тут без пива?!

Потом пошел в другой магазин, но пива там тоже не было.

Он ходил по магазинам в полубоморочном состоянии, и в голове красным сгустком бултыхалась одна мысль: «Да как же теперь жить без пива?» Во рту было солено от ободранного кровоточащего языка.

– Котя! Котя! – плакал где-то мальчик с волосами цвета скошенного поля.

Васильково, октябрь, 1983

Руины

Не пел соловей.
Не пахло фиалками.
Не кружилась голова.

Где-то бляяла коза. Казалось, почему-то, что она рожает. Вряд ли. Наверное, должна была бы бляять громче. Впрочем, может, и рожала. А когда они рожают? В какой-то определенный сезон или круглый год?

Внутри развалин стоял крепкий, на века, запах испражнений. Он преследует все развалины – и старые, и не очень. Этому запаху до лампочки, в каком веке эти развалины основали и кто.

"Хочешь, я покажу тебе самое старое здание в этом городе?"

"Ну, покажи".

"Нет, если ты не хочешь..."

"Да показывай, показывай..."

"Вот. Этим стенам семьсот лет, ты представляешь?"

"А чем они отличаются от тех, которым семьдесят?"

"Ну, что ты! Это же – средние века! Смотри, какая кладка и кирпич. Они его формовали вручную, здесь же".

Еще пахло травой. Пока они сидели, запах был не сильным, но лежа она почувствовала, что сладковатый запах помятой травы перебивает все остальные, даже нечистот. А голова была пустой и ясной, как и чувства. Только постоянно всплывали строчки из песни: «...Я только Вас всегда ждала и только Вас люблю». Или одна строчка? Неизвестно, потому что больше ни слов, ни мелодии она не помнила. Одна издевательски идиотская строчка. Ясное и пустое сознание отрешилось в сторону и, сидя там, вдали от тела, оно спокойно наблюдало. Со стороны и немного сверху. Видна была каждая мелочь, слышен каждый звук. Одичавшие развалины, заросшие одичавшими кустами, как и все вокруг, в тихой глухой буйности. Красно-серые стены допотопной кирпичи, задыхающиеся в объятиях серо-зеленой растительности. Тускло светящиеся загорелые ноги и часть живота с белым треугольником от купальника, безучастные ко всему на свете и, тем более, к этому, который тяжело сопит над ними. Чего он возится? Быстрее бы уж! Непоющий соловей, неживые под серо-зеленой шубой семена фиалок, бляение нерожающей козы...

Она не ждала от этого ничего особенно хорошего, но думала, может быть, хоть немного веселее это будет. Но ничего не чувствовала, даже боли. А говорили: это больно. Скучно. И даже не противно. Самую малость, чуть-чуть неприятен Этот с его непродувным носом и мокрыми руками, молча и натужно сопящий. Скучно.

Она немного испугалась, когда Этот вдруг застонал и стал дергаться в судорогах, но тут же поняла, что это, наверное, конец. Так, наверное, и надо. И когда Этот затих, она столкнула его с себя, несильно, не зло, просто перевернула его и села, глядя на свои, такие чужие, ноги, загорелые и тускло светящиеся, на белый треугольник от купальника. Провела рукой по животу и дальше вниз. Почувствовала, что мокро и липко, и только тогда сознание вздрогнуло, скорчилось от отвращения и бросилось откуда-то со стороны и сверху на нее, и она стала обтирать трусами это липнущее, скользкое, обтирать до боли, до того, чтобы стереть его вместе с кожей. Кожа раскалывалась и саднила, а она все терла и терла, сдерживая слезы и тошноту. Потом швырнула трусы вниз, в темноту, в яму, разбухающую кустами, вытащила свои сигареты и курила, опершись на голые колени. Надо было бы одеться, но... теперь чего уж!.. Этот напомнил о себе – зашуршал болоньевой курткой, на которой они сидели, и попытался обнять ее. Она отодвинула его рукой. Потом он посидел немного и снова полез, и она вздрогнула, когда

Этот коснулся ее голой ноги. Руки у него уже не были мокрыми, только стали очень холодными. Она вздрогнула и сразу встала, и начала одевать колготки. Юбка, наверное, страшно помята, а идти через весь город. Хотя – ночь – кто там ее увидит? Что Этот сказал? Женится?! «Я только Вас всегда ждала, и только Вас люблю». Она даже засмеялась тихо и коротко, но Этот услышал и громче засвистел гайморитом. Когда пробирались через кусты к проспекту, Этот провалился в яму почти по колено и, чертыхаясь, стал чиститься. Она не стала ждать.

Козы уже не было слышно. Сквозь кусты все явственней пробивался запах отработанного бензина и остывающего асфальта.

Она сначала не знала куда идет, а потом... Действительно, куда ей еще идти?

Уже полгода она вставала ровно в семь и шла к одному и тому же дому, к одному и тому же подъезду, и приходила к нему ровно в восемь, и стояла там, в тени, глядя на подъезд напротив, чтобы увидеть, как ровно в пять минут девятого оттуда выходит Он. Закуривает, идет к трамваю. И шла за ним, хотя ей нужно было совсем в другую сторону, на другую остановку. Но шла. И только тогда, когда Он сел в трамвай, и тот трогался, только тогда она поворачивала и шла своей дорогой. Когда его трамвай запаздывал, Он нервничал. И она тоже злилась вместе с ним. Неизвестно, на то ли, что он мог опоздать на работу или на то, что могла не успеть сама.

Она не знала сколько времени. У нее не было часов. У Этого, который остался в луже, они были, но тот остался.

Однажды она увидела, как Он выходил из своего подъезда с очень красивой женщиной. Черноволосой, со сросшимися на переносице бровями, в кожаном пальто, с туго затянутой тонкой талией и высоко поднятой головой.

В тот день ее знобило, и дрожали руки. И вечер – у них с матерью была одна комната, так что негде было запереться и поплакать, – невыносимо долго она ждала, пока мать выключит телевизор, пока, наконец, уляжется, по несколько раз проверив замки и газ, и улеглась сама, думая, что вытерпит еще то время, когда мать ворочается, покряхтывая и вздыхая, но как только лицо коснулось подушки, она чуть не завывала и втискивалась, задыхаясь, в подушку, и забивала себе рот, чтобы оттуда не вырвалось ни единого звука. Под утро она клялась себе, что больше не пойдет туда.

На следующий день она успокоилась. Думая об этой женщине и о нем, почему-то решила, что их ничего не связывает. Ну, конечно! Ведь она намного старше него. И потом – выйдя из подъезда, они спокойно разошлись в разные стороны! Ведь когда что-то есть, так не расходятся. Она не знала, как расходятся, когда «что-то есть», но думала, что только не так.

И снова, ровно в восемь, была в тени подъезда напротив. И, когда увидела его, выходящим одного, ей захотелось подбежать и поцеловать его, прижаться к нему, и там, в нем тихо и мирно заплакать. Он бы молча погладил ее по голове. Рука у него большая и мягкая. Он бы прижал ее к груди, и сказал бы: «Ну, что ты, глупая...».

Она даже не пошла провожать его к остановке. Почувствовала, что если еще хоть минуту, хоть полминуты она будет видеть его, то от счастья может потерять сознание – шум: «Ах, девушке плохо! Воды! Врача!». Он оборачивается, смотрит на нее, развалившуюся на тротуаре, недоуменно. Фу!

И снова встала ровно в семь, и пошла к тому подъезду.

И снова увидела его с женщиной со сросшимися на переносице бровями. Только теперь на прощание они поцеловались.

Ее отпустили с работы. Колотило. Ей насовали таблеток и вытолкали домой: лечись! Мать вызвала врача. Старый, морщинистый, как высохшая картофелина, он тоже напрописывал ей таблеток, а потом похлопал по дрожащему плечу: «Замуж тебе, девка, надо, вот что. А не лекарства...».

А она и спать не могла. Когда засыпала, ей снился Он и женщина со сросшимися бровями. Старше него. Такая опытная. В постели, в лесу, на пляже, днем, ночью, утром – везде

и всегда одни и те же сцены: липкие, всасывающие. Она была не в силах их смотреть, но и бессильна оторваться. Просыпалась от собственного крика или оттого, что будила испуганная мать. Потом понемногу это прошло. Может, помогли таблетки старой картофелины. Она вышла на работу, вот уже две недели. К подъезду не ходила. И старалась не думать о нем. Получалось. Тем более что и была она в каком-то полусне. Как лунатик, ходила на работу, ела, спала, смотрела телевизор. Но не было ни снов, ни мыслей.

Сейчас она не помнила, откуда взялся Этот, который остался. Да и не пыталась вспомнить.

А потом произошло то, в развалинах.

И теперь она шла... Куда же ей еще идти?!

Шла. А что же ей еще оставалось делать?!

Она долго ждала. Очень долго. Оцепенев, и, вцепившись всеми остатками сознания в подъезд напротив, она не двигалась, не мигала, слившись с темнотой своего подъезда.

Слабый порыв ветра пронес над тротуаром сухой дырявый лист. К нему выскочил полосатый котенок и попытался с ним играть, но тот вырвался и зашуршал дальше, а котенок, чего-то испугавшись, рванулся в зарешеченное окно подвала. Если б она это видела, удивилась бы: откуда здесь в лете среди серо-зеленого буйства сухой дырявый лист?! Но сознание было в подъезде напротив. Оттуда этого не было видно.

Из подъезда напротив все чаще стали выходить люди. Потом все реже. А потом и вовсе перестали выходить.

И Он не вышел.

И она вдруг поняла, что и не выйдет. Никогда больше не выйдет.

Никогда.

Конечно... Конечно, Он почувствовал. Он все почувствовал. Конечно, Он почувствовал то, что произошло в развалинах. Не мог не почувствовать. Чувствовала же она то, что вытворяла с ним женщина со сросшимися бровями. И Он больше никогда не выйдет. Никогда не выйдет... Он почувствовал...

Остатки сознания растворялись в темноте подъезда напротив. Она стала медленно сползать по стене. У нее задралась юбка, и как-то сразу, вдруг, она ощутила пронизывающий холод бетонного пола. «Ах, девушке плохо, воды, врача!..» Наплевать. Пусть. Он же не видит – Он уже никогда не выйдет – Он почувствовал...

Васильково, сентябрь, 1983

Артист Новиков

Когда уже грузились в автобус – Новиков успел переодеться, и помогал таскать аппаратуру – подошла какая-то девица и, удивленно глядя ему в глаза, спросила:

– Скажите, а Вам после своих концертов, не бывает стыдно?

И Новиков растерялся. Он должен был бы съязвить, ну пошутить, ну хотя бы тоже удивиться: «За что?!»

Но он не съязвил, не удивился, а голова вдруг стала до звона пустой и в ней – колом – одна фраза: «Черт бы побрал эти сельские клубы!»

От них всегда можно ждать какой-нибудь гадости. Он всегда говорил: «Черт бы побрал эти сельские клубы!»

Но на города особенно рассчитывать не приходилось.

Девица, как девица. Ничего выдающегося – в меру раскрашена, поблескивающая металлом куртка, джинсы. Она прихватила его в коридоре, темном и узком. Новиков стоял с тяжелой басовой "биговской" колонкой, и тупо смотрел в зеленые глаза девицы. Он потом еще удивился тому, что коридор темный, лица-то толком не разглядеть, а зелень глаз видна. Колонка оттягивала руки, хотелось бросить ее к чертовой бабушке, но если бы бросил, попал бы по ноге. "Биговские" колонки – не «Электрон»!

«Черт бы побрал эти сельские клубы!»

Девица слегка наклонила голову набок, как воробей, и зеленые глаза даже не мигали от любопытства: «Неужели же не стыдно?!»

«– ...играют, поют, танцуют... Ну, в общем, чего только не делают эти славные ребята! А ведет нашу программу, как вы уже, наверное, догадались, артист Джордж Новиков! Это – я!»

Это что, она его передразнивала?

Фу, бред!

Она все так же стоит, наклонив по-птичьи, голову набок, притиснутая к стене колонкой.

Интересно, сколько она могла так простоять? Новиков успел бы надорваться, если бы не подоспел Вася-органист, и не пихнул их обоих своим огромным животом. Протискиваясь между стенкой и Васей, девица еще раз поймала тупой Новиковский взгляд, и улыбнулась так, будто пожалела Новикова.

В автобусе все молчали. И не от усталости, с чего уставать-то? Каждый всего минут по пятнадцать отработал. Просто, когда гастроли подходят к концу, говорить уже не о чем – все обговорено, да и от физиономий друг друга тошнит. Молча смотрели на дождь в окнах. И Новикова это бесило – хоть бы анекдот кто рассказал, что ли? Он обернулся на задние сиденья, откуда обычно вещал Вася, но тот спал, обхватив руками ящик с органом.

«Недавно в автобусе слышал такой разговор. Одна очень интеллигентная дама говорит своей спутнице: «Вы знаете, от менингита или умирают, или становятся идиотами. Можете мне поверить, я сама перенесла менингит».

Не стыдно! Какого черта? Одиннадцать лет я мотаюсь по этим вашим вшивым сельским клубам, да что там сельским! Мы выступали по всей стране, от Калининграда – до БАМа, были в Петрозаводске, в Новгороде, в Ленинграде были! И нигде, слышишь, ты, пигалица, нигде мне не было стыдно!

Не слышит. Черт бы побрал эти сельские клубы! Всякой гадости можно ждать. Хорошо хоть ничего не сперли. Дура! Лучше бы оделась приличнее. Господи, что ты мелешь? Нормально она одета. А, пошло оно все к черту! В конце концов, свой червонец я честно отработал.

Новиков попытался вытянуть ноги, но они уперлись в "биговскую" басовую колонку. Сво- лочь. Хотелось пнуть ее ногой, да нельзя – басист взбеленится, она и так у него лагает.

Среда. Конец гастролей. Приятно конечно, но – среда! Каждую среду, просыпаясь утром, Новиков ждал от этого дня очередной дерьмовой неожиданности. Все дерьмовое, что случилось у Новикова в жизни, случилось в среду. Сегодня эта сельская ходячая совесть со своими нахальными зелеными глазами.

Новиков все-таки умудрился вытянуть ноги, сложил их одна на другую, просунув между колонкой и стенкой автобуса. Запрокинул голову и прикрыл веки. Скорей бы домой, да вымыться в собственной ванне, да в собственную постель, да к собственной жене под бок. Да побиричь чего-нибудь домашнего. Люська готовит неважно, но, как намотаешься по столовкам – хочется.

«Недавно, в одной из столовых нашего города, произошел трагический случай. Шеф-повар налил себе борщ не из котла для персонала, а из того котла, из которого кормят посетителей. Его так и не откачали». «Кого, котел? – однажды тихо спросил Вася, перегнувшись через свой живот. Где это было? Наверняка тоже в сельском клубе. Ну, конечно. Еще услышали дети, плевавшие семечки в первом ряду, и захихикали. Конечно, в сельском. Черт бы побрал эти сельские клубы.

Новиков открыл глаза и, не поворачивая головы, покосился в окно. Стемнело. Они явно подъезжали к городу – далеко над горизонтом, немного справа и впереди стоял светящийся купол. Вот интересно – фонари сами по себе дают такое зарево, или это смог светится?

Когда подъехали к дому, Новиков, извернувшись, посмотрел на свой шестой этаж. На кухне горел свет – Люська сидит. О девице с зелеными глазами Новиков сразу забыл. Скорей бы в собственную ванну, да к собственной жене.

Зотова все-таки изловчилась – поймала, когда он уже почти вышел из автобуса. Поймала и прижала его голову к своей костлявой грудной клетке, и даже как-то всхлипнула по-уни-тазному, у него над головой. Новиков хотел как-нибудь корректнее освободиться, но в спешке получилось, что он ее толкнул, она оступилась и упала бы, но вовремя ухватилась за поручни. Ну и черт с ней! Так ей и надо. Дура! Что ж он, теперь и дома с ней в любовь играть должен?! Не маленькая – соображать должна – думал Новиков, раз за разом нажимая кнопку лифта, пока не понял, что его уже отключили. Черт знает что! Пол одиннадцатого, а лифт не работает. Среда.

Оказывается, он здорово устал. Он понял это, взбираясь по лестнице. Лодыри, пол одиннадцатого, а они лифт отключили. У него в руках был только "дипломат" с походной дребе-денью, а чувство такое, будто он все еще тащит здоровую, как шкаф, "биговскую" колонку – тяжесть неимоверная, и еще эти нахальные зеленые птичьи глаза. Тьфу ты! Скорее бы в ванну.

Позвонил...

И сразу услышал мужской голос...

В животе стало как-то нехорошо – тошно и жутко.

Он нажал кнопку несколько раз, посмотрел на дверь – его ли? Его, Новикова, дверь. Стал судорожно рыться в карманах, вылавливая ключ. Полные карманы всякой дряни! Уже психуя, начал вываливать все из карманов прямо на кафель лестничной клетки. И тут шелкнул замок.

Оказывается, у Люськи тоже зеленые глаза. Не знал он об этом, что ли? Знал. Но сейчас почему-то удивился. Зеленые, настороженные. Лицо горит. Зеленые, настороженные и решительные.

Он грубо сдвинул ее в сторону и в два шага заскочил на кухню. Сидит, голубчик.

Новиков прислонился к дверному косяку и ватной рукой протер лицо. Черт, устал-то как!

– Ну, вот и хорошо, – сказала Люська.

Лицо у нее теперь стало белым.

– Хорошо, что ты приехал сегодня. Вот и поговорим, наконец.

Сегодня? Ах да, они же должны были послезавтра вернуться! М-да, среда, среда.

«Недавно прочел одно объявление: «Если вы хотите увеличить свою семью, то в этом вам поможет наш прекрасный мастер-фотограф».

Новиков сел на табуретку. Потом заметил, что все еще держит "дипломат". Аккуратно поставил его рядом.

– Ребята, угостите чаем. Устал, как собака.

– Хоть сейчас ты можешь не кривляться? – взвизгнула Люська. – Я тебя...

– Помолчи, – перебил ее Тот, кто сидел напротив. Спокойно так перебил, властно.

"Ого! – подумал Новиков, – В моем доме уже не я хозяин".

Он поднял, наконец, голову и стал разглядывать Того, который сидел напротив, за его, Новикова, собственным столом. Который, наверное, пользовался его, Новикова, собственной женой. Спокойные зеленые глаза – да что они сегодня, сговорились все, что ли, эти зеленоглазые! – крепкая нижняя челюсть, короткая стрижка, плечи не огромные, но тяжелые, и пошире, конечно, чем у Новикова. Да и ростом он, пожалуй, повыше.

– Отгадай загадку, – сказал Новиков. – Два кольца, два конца, а посередине ножницы.

Ну вот. Этот тоже посмотрел, будто погладить хочет от жалости.

– Люся, выйди, пожалуйста, – это Тот сказал. Тот, который напротив.

И она послушно вышла! Поразительно. Новикову с одного раза никогда не удавалось упрямить ее о чем-нибудь. Хлопнула дверь, и Тот стал что-то говорить. Новиков не слушал. Он думал: вот интересно, если б он приехал вчера, или завтра, не в среду, могло все это быть или нет? Еще думал, что вот перед ним сидит его кровный враг, а он не чувствует никаких душераздирающих эмоций. Нет, конечно, хорошо бы ему съездить по этой крепкой деревянной челюсти. М-да. Хорошо бы...

«Развеселый мальчик Вова дернул хвостик у коровы. И теперь у той коровы на копыте профиль Вовы».

Пошло оно все к чертям собачьим!

Новиков взял "дипломат", встал и пошел к двери. Вышла Люська. Недобро так смотрит, зло. Хорошее дело, уж кому злиться, так это ему – Новикову.

– Я только вот что хочу тебе сказать, красавица. На квартиру вы со своим хахалем не рассчитывайте – не дам ни метра. Да и все остальное, разделите, пожалуйста, к завтраму. Договорились? И что б ноги вашей здесь не было.

И в зеленых глазах вместо ненависти засветилась вселенская жалость. Очень красиво.

Новиков через ее плечо помахал рукой в открытую дверь кухни.

– Гуд найч, бэйби!

Потом поймал такси и поехал к Васе-органисту. Но, не доехав, вышел и пошел пешком. Город был пустым и чистым. На мокром асфальте рябили фонари. Новиков прошел немного и пожалел, что вылез из машины. Все-таки он был здорово уставшим. И это чувство, будто в руках громоздкая басовая "биговская" колонка. Тяжелая, как сволочь, оттягивающая сухожилия и горбящая плечи. И чувство было таким, будто он эту колонку тащит всю жизнь, тянет как Сизиф, не имея никакой возможности бросить. Тяжело – жилы трещат, суставы выворачиваются, грудь сжалась под тяжестью так, что дышать невмоготу, а тащить надо.

Вася открыл дверь, и Новиков еле удержался на ногах от ударившей в лицо волны перегара. Сморщившись, отвернулся.

– Чувак, я переночую у тебя?

Вася кивнул и с трудом, пошатываясь, понес свой бурдюк в спальню. На ходу пробормотал что-то, Новиков не разобрал, понял только, что кира нет и бирлять тоже нечего. Есть почему-то и не хотелось. Очень хотелось спать. Вернее, даже не спать, а просто лечь.

Новиков в темноте ощупью добрался до дивана, влез под плед, не раздеваясь, и скорчился.

Тяжеленнейшая басовая "биговская" колонка вдруг с грохотом упала, слышно было, как что-то оторвалось там, внутри, и тяжело бухнуло в стенку. Она упала углом и прямо на ногу. Артист Новиков взвыл от резкой и неожиданной боли.

Голдберг, сентябрь 1984

Серые ночные кошки

1

Из кармана у него торчала откупоренная бутылка.

– Что тебе нужно?

– Послушай, Наташа, – сказал он. – Выходи за меня замуж.

Пьяный он отвратителен. Он, впрочем, и так не подарок. Господи! Как хорошо, что она отвязалась от него. А ведь сколько натерпелась!

– Уходи, – сказала она.

Он стоял и смотрел на нее. Ни злости, ни жалобы – просто смотрел.

– Уходи.

– Да, – сказал он. – Да... Я уйду... Ну, конечно, уйду! Куда же мне деваться?! Сейчас...

Он стоял. Ей надо бы зайти и закрыть дверь. Ну? Заходи и закрывай дверь.

– Хочешь выпить? – спросил он. – Выпей со мной.

– Я не буду с тобой пить. И вообще, нам, по-моему, не о чем говорить. Уходи.

– Послушай... – сказал он. – Что-то я неважно себя чувствую. Ты не гони меня... А?

– Я начинаю мерзнуть, – сказала Наташа. – Здесь холодно. До свидания.

Она плотнее запахнула халат, зашла в квартиру и закрыла дверь. Выключила в коридоре свет. Прошла в комнату и легла.

Должно быть, он не ушел еще. Топчется на лестничной клетке.

Уйдет, никуда не денется.

Замуж... Опомнился.

А чего он приходил, в самом деле?

Да как, чего? Пьяный. Баба потребовалась. Вот и приперся. Ну, нет, драгоценный ты мой, иди-ка ты в другом месте поищи. Хватит.

«Мужичье...» – подумала она.

Она встала и пошла на кухню. Перед включателем задержала руку. Он увидит свет на кухне и снова станет звонить, – подумала. Ну и пусть. Не открою.

Поставила чайник на плиту, зажгла газ. Закурила.

Ведь она спала уже. Утром на работу. Когда теперь опять ляжешь? Вот принесло его!

Потихоньку начал шипеть чайник. Она удивилась, что так рано. Посмотрела: там оказалось мало воды. Долила и опять поставила на газ.

Что-то он не звонит... Ушел?

В квартире было не холодно, но ее немного познабливало. Она принесла вязаную кофту и накинула на плечи. Простыла? Вроде нет...

Наташа вспомнила, что где-то оставалось немного водки, и стала искать ее по шкафчикам. Нашла, открыла бутылку и понюхала. Эта водка была у нее так давно, что, может, там и градусов не осталось, одна вода. Но нет, пахло водкой. Она налила немного в стакан и выпила. И тут же пожалела, что не открыла помидоры. У нее были болгарские помидоры в собственном соку, такие красные и аккуратненькие.

Бросилась к холодильнику, а потом, с банкой в руках, стала искать открывашку, но не нашла, а во рту ужасно противно, и попробовала открыть помидоры ножом, но нож сорвался и порезал руку. И тогда она выругалась и бросила банку об пол.

А потом сидела и смотрела, как капли томатного сока стекают по белым ножкам кухонного стола красными полосами, оставляя за собой желтые крошки помидорных косточек.

Она допила остатки водки и пошла спать. Но водка Наташу почему-то не согрела, и ее еще долго знобило, пока она не уснула.

2

Когда он пьян, то отвратителен. Кому, как не ей об этом знать?

Таня сегодня работала во вторую, закончила поздно, а еще нужно было зайти к родителям. Они сказали: «нужно». На самом-то деле, ни черта им это не нужно было. Все – старая история. Когда мать начинала ныть, Таня всегда злилась. Злилась потому, что и сама знала все, что та ей говорила. И еще потому, что ей становилось себя жаль. Да, тридцать – не шутка... И она об этом знала. И ей бывало себя жалко. Но сама она об этом старалась не думать и, в общем, получалось. Вот только, когда мать начинала... И тогда Тане хотелось броситься ей на грудь и как-нибудь выплакать все, что скопилось. Но она только злилась на мать за то, что та была права. И за то, что постоянно напоминала об этом.

Домой вернулась чуть не последним трамваем. И потом долго сидела у зеркала и смотрела на себя. Будто там можно было что-то высмотреть.

И она уже вымылась и легла, и только выключила ночник, как он позвонил в дверь. Она еще не знала, кто звонит, но как-то сразу почувствовала. Мелькнуло что-то вроде страха.

На цыпочках прошла в коридор и посмотрела в глазок. И это был он. Пьяный.

Он стоял и ждал, пока откроют дверь. Или прислушивался к тому, что за дверью? А она боялась вздохнуть и зажимала ладонью рот, и смотрела на него в глазок. Глаза слезились.

Вряд ли в глазок можно разобрать, что он пьян, там вообще еле разберешь – кто? – но она знала – пьян. Да и не пришел бы трезвым.

И ее охватывал ужас от того, что вот он сейчас опять позвонит. А ей-то что делать?!!

А он позвонил. И она, неожиданно для самой себя, схватилась за ключ. Но тут же отдернула руку. И опять схватилась. И когда он позвонил в третий раз, она выдернула ключ из замка и на цыпочках – наверное, это смешно выглядело... – побежала в ванную. Плотно закрыла дверь, заперлась на шпингалет...

Звонок. Уже длинный, настойчивый...

Она быстро подняла крышку унитаза и бросила туда ключ. И снова закрыла крышку. И присела рядом. И вдруг заплакала. Даже как-то заскулила. Тихо, зажимая рот обеими руками. Заплакала и уже не могла остановиться, и все ей казалось, что он сейчас услышит.

А потом он позвонил в последний раз. Коротко, резко... И она вдруг с грохотом откинула крышку и полезла в унитаз рукой, и шарила там, ничего не находя, а вторая рука никак туда не влезала. И она чуть не кричала от этого. Ну, что же этот ключ! Ну, никак!..

А потом он ушел. Из ванной она не могла слышать его шагов, но почувствовала, что за дверью его больше нет.

Таня вытащила руку из унитаза и подставила под струю из крана. Горячей воды не было. Вода становилась все студеной, и стало сводить руку от холода.

А она все плакала, плакала... И никак не могла понять: как же она утром выберется из дома? Да выберется как-нибудь...

И все плакала, раскачиваясь и задевая плечом ванну, и плакала уже в голос, и уже не было смысла зажимать рот.

А потом, в разное время – одна раньше, другая позже – обе узнали, что в ту ночь он повесился.

Когда-то в кафе

У нее были глаза, как Балтийское море – серо-зеленые, со стальным оттенком. Бесконечно одинокие, затаившиеся глаза человека, давно отчаявшегося и давно пережившего свое отчаяние. Глубокие суровые глаза.

Но к ней нельзя было подойти. Ее нельзя было окликнуть. Ее одиночество было закаленным до стального блеска. Я знал, что если бы решился подойти, тронуть ее... Может, что-нибудь случилось бы? Наверняка бы что-то произошло!

Но я сидел, забившись в угол, и молча смотрел, как она берет кофе, расплывается...

Наверное, она заметила мой взгляд, потому что села за столик боком, не лицом ко мне... Аккуратно пила, еле касаясь чашки мягкими губами, подкрашенными темной помадой.

Потом встала, вскользь коснувшись меня холодным металлом, вышла.

В воздухе таяло легкое чистое облачко горького пара.

Вуктыл, страна Коми, 1986 г.

Сказка о Великом Народе

Это было страшное время. Безвременье. Когда мужчины были трусливы, глупы и продажны, как женщины. А женщины – грубы и развратны, как мужчины...

Когда правда считалась ложью, а ложь – истиной...

Когда убивали красоту и почитали уродливость,

И миром правили жадность и лесть,

И доносчиков превозносили, а

Палачам давали ордена...

В это жуткое время, в разных концах планеты родились Он и Она.

Они росли, ничего не зная друг о друге. В разных концах планеты, Он наливался силой и мужеством, Она – нежностью и красотой.

Они росли и выросли.

Он – смелым и честным. Она – верной и кроткой. И оба они были выше своего народа, стройнее, светлее глазами и теплее кожей. И народ их за это возненавидел. Но тайно. Еще не посыпались в них камни, не прошелестели вслед доносы, не шлепались плевки. Потому, что еще не было подобных этим двум в истории народа, а неизвестное и непонятное рождало в нем, кроме ненависти, и страх.

Они выросли и повзрослели. И обоим, каждому в своем конце планеты, было очень одиноко. Ему было некому говорить правду, а от нее никто не требовал верности. И оба поняли, что дальше так жить не смогут. И пошли искать друг друга. Ничего друг о друге не зная. Но они пошли. Потому что в каждом была и надежда, и вера.

И путь их был через тернии и смрад.

На каждом шагу его подстерегала похоть. «Нет ее...» – шептали ему чьи-то губы, и чьи-то тела возбужденные и скользкие обвивались вокруг него. И чьи-то руки бросали ему под ноги битое стекло и песок в глаза.

«Нет его!..» – на каждом шагу кричали ей в лицо чьи-то хриплые голоса, и чьи-то цепкие и косматые пальцы рвали на ней одежду и впивались ногтями в грудь.

Но они шли...

И понял народ, что не остановить их. Понял народ, что встретятся честность и верность, смелость и доброта, и воспарит тогда надежда и воцарится над миром любовь...

И постановил народ убить их.

И когда они уже почти дошли друг к другу, и уже протянули друг другу руки, навалились на них всем народом...

Отваге его не было пределов, но силы его были конечны...

И проклятия ее были страшны и пронзительны, но никто их не слышал...

И бросили их с самой высокой горы...

И долго им вслед летели камни и шелестели плевки...

И нет больше в том народе ни чести, ни верности.

И нет больше в мире надежды.

Когда тебе восемнадцать

В сушилке стоял крепкий кислый запах высохших до хруста портянок и распаренных сапог. Воняли и валенки, и все сто двадцать бушлатов на стенах, но портянки и сапоги забивали их запах.

И было душно. От спетого ядовитого воздуха, и от жары лоб и нос сразу покрывались испариной. Терпеть все это было тяжело, но все же легче, чем минус сорок на улице. Ясючя уже оделся, но сидел на прутьях решетки для сапог тихо, не двигаясь, нутром впитывая тепло впрок, и смотрел, как медленно, с закрытыми глазами, наматывает портянки Толстик. Тот натужно сопел вечно забитым носом, и на его толстых разлапистых губах висели мутные слюни. Шея была в серых разводах и фиолетовым пятном – чирий. Портянки он намотал неправильно и теперь не мог задохнуть ногу в валенок, но с ленивым упорством совал ее, и валенок распирало от узлов. На призывном пункте в Молодечно они были вместе, и Толстик тогда был единственным хорошо одетым.

«У меня ничего хуже нет», – сказал он тогда.

И в это верилось. Толстик казался интеллигентом или сыном очень интеллигентных родителей. Ясючя никогда бы не поверил, что за полгода можно так опуститься. А поверил бы он, что самому придется застилать по утрам постель умственно недоразвитому аварцу? Черт с ним, с аварцем. Главное: вытерпеть, выжить, сжаться в комок, прикусить зубами чувства, впасть в спячку, как барсук, и перезимовать. Два года это не вся жизнь, это только – два года. Забыть о них, вычеркнуть, оставить дурным сном.

Вот проснемся – разберемся.

Все будет в порядке, все будет хорошо. Толстик вот, кажется, вообще ни о чем не думает. Нормальный человек за полгода превратился в грязное животное. Карманы вечно набиты хлебом, и он прячется по углам и там жует его. Посмотреть бы на него потом, на гражданке. Таким и останется или опять станет интеллигентом?

В сушилку зашел Иванов и не закрыл за собой дверь. Потянуло прохладой от двери и зубной пастой от Иванова. Сегодня дежурным по роте ноябрьский ефрейтор, всего на полгода старше призывом. Калининградцы в такие дни вставать на снег не торопятся. Это не обидно. Пока они, лежа в постели, отбиваются от ефрейтора, можно лишних двадцать минут посидеть в сушилке.

Иванов тихо ругался. Ясючя хотел сказать ему, чтобы он закрыл за собой дверь, но не сказал – все равно не закроет.

– Я сегодня к вам на динамную сталь, – сказал Ясючя.

– Зачем?

Иванов повернулся. У него была свежеразбита нижняя губа.

«Вчера еще этого не было», – подумал Ясючя и пожал плечами:

– На известковом уже нечего делать.

Иванов кивнул и аккуратно намотал сначала фланелевую потом войлочную портянку. Притопнул валенком.

– Толстик! – сурово сказал он. – Иди, подмывайся. Сегодня я тебя ебать буду.

Толстик сделал вид, что не слышит, но видно было, как опасливо он покосился.

Иванов притопнул другим валенком и стал затягивать пояс у ватников.

– Ты что, сука, оглох? Или борзеть начинаешь? – рявкнул он, и Толстик машинально втянул голову в воротник засаленного кителя, пряча ее от удара, хотя Иванов и не собирался его бить. У него не было пряжки на одной лямке ватников, и он был занят стягиванием в узел коротких концов.

Толстик стал одеваться быстрее. Иванов никогда его не трогал, а раньше, до того, как ноябрьские поставили Толстика раком на второй смене, не давал трогать его и никому из своего призыва.

Толстик, застегивая ремень на огромном рваном бушлате, подошел к Ясючене.

– Виталик, дай закурить, – попросил он, глядя в сторону, в черное зарешеченное окно. Ясюченя не ответил, и Толстик стал торопливо пятиться к выходу.

– На, – сказал Иванов, и бросил ему сигарету.

Толстик не поймал ее, уронил, но быстро подобрал с пола и вышел.

– Что же ты своих земляков не уважаешь? – спросил Иванов. – Как на гражданке, так, небось, вместе свою бульбу лопали.

– Я в рот ебал таких земляков, – сказал Ясюченя.

Иванов посмотрел на него, слегка скривив свои разбитые губы.

– А пошэму Кузьмин нэ хошэт встават? – слышалось из коридора.

– У него же ноги гниют, – ответил голос ефрейтора-дежурного.

– У мэнья тошэ мошэт книйот! Пошэму я иду на снэк, а Кузьмин нэ хошэт?

Иванов прислушался.

– Каппаун, что ли? – спросил он.

Ясюченя кивнул.

Иванов бросился к выходу из сушилки, и Ясюченя пошел за ним – посмотреть, что там происходит?

Иванов и Тюрин уже приперли Каппауна к лакированным рейкам стены в углу у тумбочки дневального. Тюрин локтем придавил эстонцу горло, и у того из открытого рта высунулся язык.

– Ах ты, тварь нерусская, – шипел Тюрин. – Ты что, гнида, хочешь, чтобы тебе язык вырвали?

Иванов коротко, но основательно, будто вбил гвоздь, всадил Каппауну кулак в солнечное сплетение. Каппаун захрипел и стал оседать по стене. Он был здоровый этот эстонец, на полголовы выше и Тюрина, и Иванова, и Тюрин с трудом подтащил его снова вверх.

– Еще раз откроешь свою гнилью пасть – убьем, – тихо сказал Иванов.

Тюрин убрал руки, и Каппаун присел у стены, потом медленно поднялся и вышел из казармы.

Дневальный, хохол из их призыва, равнодушно смотрел, как клубится пар возле закрывшейся за эстонцем двери. Ефрейтор-дежурный был где-то внутри, в темноте храпящей и стонущей, и смеющейся во сне, роты. Ясюченя вдруг подумал, что этот ефрейтор, наверное, побаивается калининградцев. Не всех, конечно, но вот этих троих – Тюрина, Иванова и Кузьмина. Подумал, но не удивился. Он в последнее время не удивлялся.

Они вытащили из-за пожарного щита лопаты и огромный, сваренный из листа железа и арматуры, скребок, и стали убирать свою часть плаца. Тюрин и Козий впряглись в скребок, а Иванов управлял им. Сгребали снег к краю, а остальные откидывали его лопатами за бордюр.

– Дывысь, з других рот ще никого нэмае, – сказал Опудало.

– Это их дело, – сказал Ясюченя.

Он воткнул деревянную лопату в сугроб и закурил. От дыма на голодный желудок стало немного тошнить. Он затянулся еще пару раз, забычковал и сунул окурок в карман ватников.

– Эй! – крикнул Тюрин. – Вы там пошевеливайтесь! Может, перед подъемом еще погреться успеем.

«Какая, к черту, разница!» – подумал Ясюченя, но работать стал быстрее.

Вышли молодые москвичи из карантина и тоже стали убирать снег. Неуклюже, еле ползая.

– Скорее бы салаг до нас прислали, что ли... – сказал кто-то. – Все-таки полегче будет.

– Говорят, их не будут раскидывать по ротам. Так и оставят – молодую роту.

– Откуда ты знаешь? – спросил Ясюченя.

– Говорят...

– Что же, мы так и будем въебывать до конца?!

– Хреново, – сказал Говор. – Мне нужна хорошая шапка.

– Пойди, да сними.

– Там за ними смотрят. Я думал, когда в роту придут, заберу.

– Насрать мне на твою шапку! – сказал Ясюченя. – Что же, мы так и будем, до дембеля, на полах заезжать?!

– Да чего ты ко мне-то прицепился? Пойди к комбату, скажи ему, что не хочешь заезжать. Может, послушает.

– Еби твою в душу мать! – сказал Ясюченя.

– Надо будет на работе у них шапки посдирать, – сказал Говор. – Я знаю, где они работают.

В обед сходим.

– Тебя потом ёный старшина здярот...

– Это Гулый?! Пошел он к ебени матери. Я ему на голову потом кирпич скину.

– Гляди, они уже в роту пайшли.

Иванов и Тюрин пошли в казарму, а Козий потоптался возле двери, но зайти не рискнул, а встал на веранде, закурил и стал ждать остальных.

– Давайте быстрее, да тоже пойдем, – сказал Ясюченя.

Снега оставалось немного, и они его быстро убрали.

Ясюченя дальше сушилки не пошел, а сел в угол, зарывшись в бушлаты. До шести оставалось минут тридцать, и можно было поспать. Здесь, в сушилке, Мамедов не сразу его найдет и, может, сам свою койку застелет.

Ясюченя уснул мгновенно, и тут же:

– Подъем!!!

Он встрепенулся, но вовремя вспомнил, что вскакивать не нужно, и только еще плотнее вжался в бушлаты. В казарме затопали.

– Рота, отбой!!! – вдруг резкий голос Саидова, от которого у Ясючени стало холодно в животе.

Топот, и все стихло.

– Подъем!!! – тот же голос.

Топот.

– Отбой!!!

Ясюченя знал, что сидящего в сушилке это не касается, но все равно было страшно. От такого подъема можно ждать чего угодно. Правда, больше часа это не продлится – опоздают на завтрак и на работу. Но – страшно. И никуда от этого страха не деться. Это очень страшно – услышать резкий, с чеченским акцентом, злобный голос Саидова.

– Что, суки, окабанели?! Я вас научу, блядей, подниматься!!!

– Подъем! Засаекаю время. Сорок пять секунд. Кузьмин, тебя что, падла, это не касается? В санчасть иди со своими ляжками! Если не положат, будешь прыгать у меня, пока не издохнешь! Тюрин! Ты что там свое рыло кривишь? Меня это не ебёт! Сюда иди! Отбой! Подъем! Отбой! Подъем! Отбой! Рота, подъем!

Топот.

– Становись! Равняйся! Отставить! Равняйся! Отставить! Равняйся! Смирно!

– Черныш! Ты что, ебанный потрох, стоять не можешь?!

Глухой удар и грохот опрокидываемых табуреток.

– Сгною на полах, ублюдки!!!

В сушилку зашел Кузьмин. Взял бушлат, надел валенки и вышел.

– Так ты что, сволочь, стоять не можешь?!! Поправь табуретки! По ниточке! Бегом, скотина!!!

Удар. Грохот.

– Поправить табуретки! Я вас научу, блядей, подниматься! Окабанели!!! Умываться! Через пять минут построение на улице. Что б постели были, как кирпичики. Что б углами масло резать можно! Проверю! У кого помято – выебу и высушу! Сгною на полах! Тюрин, я тебе, сучий потрох, ведро подпишу! Будешь у меня, пока на дембель не пойду, на пола заезжать! Разойдись! Ногаев! До завтрака – строевая подготовка. Всей роте!

Через несколько минут последние призывы топтали по периметру плаца.

Ногаев сам замерз и держал руки в карманах бушлата, но выкрикивал команды тонким голосом, ругался и делал зверское лицо, подражая Саидову. Два раза он ударил Толстика, и у того по подбородку текла из носа кровь. Досталось и Ясючене. Ногаев пнул его в зад и попал сапогом по кобчику. Ходить было больно и трудно.

– Выше ногу, убудки! – вопил Ногаев.

Голос у него был гадкий, бабий, срывающийся на фальцет. Он все время норовил съездить кому-нибудь по носу – ему нравилось, как идет кровь, и целил именно в нос, но все это знали и старались вовремя увернуться. Не трогал он только ноябрьских – им вообще было полегче – и Иванова с Тюриным. Он у себя в Дагестане занимался какой-то своей национальной борьбой и, когда узнал, что Иванов дзюдоист, предложил побороться. Иванов отказывался, но Ногаев пригрозил, что устроит на полночи «подъем-отбой». Иванов сказал, что будет бороться, только без зрителей.

– Что, ссышь? – оскалился Ногаев.

– Я тебе подорву авторитет, – сказал Иванов.

Видно было, что Ногаев хочет съездить его по носу, но сдерживается. Они пошли куда-то за казарму. За ними все же увязались старики. Потом пришли. Ногаев держал рукав от кителя и разбил несколько носов. Все это еще больше укрепило положение Иванова и его друзей. Они как бы постарели на полгода. Ноябрьские относились к ним, как к своим. Но были старики, которым это не нравилось. А трое калининградцев лезли на рожон. Но, самое главное: их не любил Саидов.

Ни у кого не было часов и то, что пора идти на завтрак, можно было определить только, когда вышли бы на плац другие роты. Но они не выходили. А часов ни у кого не было. У Ясючени подарок отца, японские электронные, забрал Мамедов, а у того их выменял на финку ингуш Завгаев. Потом Завгаев кому-то их продал, и теперь вообще неизвестно где они? То, что отняли немного денег и красивый импортный бумажник, это черт с ним, но подарок отца сначала было очень жаль. Потом Ясюченя привык и даже стал забывать об этом. А сначала пытался жаловаться командиру роты, но тот сообщил об этом прямо Завгаеву. Ясюченю здорово потоптали ногами в сушилке. Хорошо хоть не завернутого в одеяло. В их роте такого еще не было, а в других... Говорят, по одеялу бьют табуретками.

Пошел снег. Крупными, с кулак, кусками, и густо. Стало теплее, но снег падал на лицо и за шиворот, и там таял. Ногаев ушел в казарму и выгнал командовать на плац ефрейтора-дежурного. Понемногу стали выползать на завтрак другие роты. Ходить стало веселее. Потом прямо с плаца роту погнали в столовую.

В дверях Ясюченя потянул носом. Пахло силосом из капусты, мороженой моркови и почерневшей картошки. Все это крошево было разбавлено теплой водой и называлось "рагу". Им кормили уже целый месяц.

За их столом сидел только один азербайджанец и допивал чай с жирно намазанным маслом куском белого хлеба. Миска из-под мяса была пустой, хлеб остался черный, а в плоской алюминиевой тарелке было три куска масла. Это – на шестерых. Зато черный хлеб остался весь.

Старики его не ели. Их отделению не повезло, за столом было сразу четыре старика. После них ничего не оставалось.

Ясюченя сел на крашеную суриком скамью и тут же вскочил. Боль проткнула позвоночник. Все-таки сильно Ногаев достал его.

– Что скачешь? – ощерился на него Саидов и замахнулся тяжелым черпаком.

Ясюченя быстро сел. Боком, на одну ягодицу. Боль, хоть и не так, но чувствовалась.

Съел свою долю силоса и пять кусков хлеба. Выпил теплый желтый чай, отдававший жженым сахаром. Поговаривали, что чай такой желтый оттого, что в него добавляют какую-то гадость – «противостояние». Но Ясюченя знал, что это – ерунда. Когда он лежал в санчасти с грибок на ногах, то видел, как санинструктор сыпал в котлы с чаем аскорбиновую кислоту. И больше ничего.

Где-то в углу столовой, ближе к выходной двери, зародился грохот и стал расти так, что хотелось зажать руками уши. Ясюченя только потом сообразил, что провожают последнего дембеля. Сообразил, когда увидел, как гордо тот несет посуду со своего стола. Это традиция: дембель в свой последний день съедает все масло, которое он не ест месяц перед этим, и самолично несет посуду. Отряд в это время стучит, чем попало и по чему попало, лишь бы громче, кружками, от которых веером разлетается эмаль, черпаками, мисками, ложками, чем придется. Посуду нес рослый чеченец из второй роты в спортивных штанах, в тельняшке, в шлепанцах на босу ногу, в офицерской шинели с погонами прапорщика, но без звездочек.

По столовой из конца в конец бегали взъерошенные офицеры, пытаясь остановить бешенство шестисот человек в щепы разносящих, недавно закупленной посудой, деревянные столы. И – шесть сотен орущих глоток.

Ясюченя тоже орал и лупил двумя руками, кружкой и ложкой по миске.

Чеченец донес посуду, поставил ее в окно перед испуганным евреем посудомоем и театрально вышел вон. Гром оборвался. Все принялись доедать.

Пока комбат хрипел на разводе по поводу разрушенной посуды, Ясюченя промерз так, что не верилось, что можно когда-нибудь оттаять. Он стоял и прятал в воротник то одно, то другое ухо и чуть не выл от боли в них. Они были уже обморожены однажды и теперь нестерпимо болели от холода.

В задних рядах кто-то с громким треском выпустил газы. В роте засмеялись. Ясюченя не мог без риска обернуться, чтобы посмотреть, кто это, но знал наверняка – Мамедов. Только у него хватало такого остроумия. Но было не до смеха. Очень холодно. Мозги замерзли и потрескивали. Казалось, он замерзнет, не доехав до стройки, и это не было страшно, страх тоже замерз. Но комбат выдал последние матюки, отряд протопал перед трибуной и, через КПП, вышел к машинам. Можно было опустить уши у шапки.

Ясюченя влез через борт в кузов, привалился к стенке фургона и так застыл, потихоньку примерзая к скамье. Мамедову было холодно сидеть на голых досках, и он сел на колени Ясючене. Но так Ясючене было даже теплее. Он только опасался, что Мамедов станет слишком часто пускать газы. Ногаев затянул нудную ногайскую песню, и ее подхватили кумыки, аварцы, даргинцы и даже кто-то из Чечни. Потом азербайджанец Ахмедов стал петь песни из индийских фильмов, и остальные подвывали ему. Они попытались заставить подвывать и молодых, но из этого ничего не вышло. Время от времени старики прерывали пение, чтобы поорать на прохожих. Когда ехали через город, люди испуганно шарахались в стороны, уворачиваясь от комьев ругани и льда, сыпавшихся из машины.

Ясюченя заметил, что у Мамедова побелели уши, но не сказал ему об этом. Черт с тобой, собака, подумал он, хоть бы они у тебя отвалились, наконец. Подумал медленно, лениво и без злобы. Просто так: неплохо бы у тебя, собаки, отвалились бы уши. Он посмотрел на черный бугристый затылок – чурки никогда не опускали клапанов у шапок, считали западло – и представил Мамедова без ушей. Это ничего не изменило в его внешнем облике. Вот бы, отравить

тебя, – подумал он. Или встретить на гражданке в Молодечно, да заставить собственное говно жрать. Подумал, но тоже без злобы – научился.

Из машины вывалились быстро и – по бытовкам. Единственная отрада, что в их бригаде был один чурка – Ахмедов. Ни рыба, ни мясо. Особенного вреда от него не было. Он иногда закладывал Саидову или Ногаеву, но не часто, и сам редко к кому лез. За это с ним делились тем, что получали из дома в посылках через гражданских сердобольных теток из бригады. В бригаде, кроме троих калининградцев, трех белорусов, двух хохлов и Ахмедова было несколько химиков¹ с разными сроками, в основном по двести шестой², и четыре вольных тетки, две из которых – химички в прошлом. Хорошие, добрые тетки. На их адрес можно было получать посылки. Про одну говорили, что она убила мужа, но никто в этом не был уверен. Она была самой жалостливой и веселой, и все время пела песни.

Ахмедов сел писать письма.

Иванов с Тюриным взяли отбойный молоток, и пошли в подвалы пробивать дыры для силовых кабелей, которые проектировщики умудрились не запроектировать. Остальная часть бригады разбрелась по цеху подметать и кое-где залить бетоном огрехи строителей.

Бетона была заказана только одна машина, но и ее оказалось с лихвой. Почти половину кучи пришлось на тачках перевозить к разбитому окну и через него выкидывать. Когда закончили, Ясюченя пошел греться к тумбам, в которых прогревали рулоны стали.

В цехе сновали французы, устанавливали свои станки. В ярко-синих комбинезонах с множеством карманов и карманчиков на молниях; в желтых замшевых перчатках; в белых, будто рекламных, касках; быстрые и сосредоточенные, они выглядели ненормально рядом с чумазыми, в драной спецовке, череповецкими работягами. Если у француза попросить закурить, он на секунду останавливает свою целеустремленность, радостно улыбается и протягивает сигареты, от одного вида которых кружится голова, и тут же забывает о тебе, ныряя в работу. Ясюченя только раз это делал и заклился больше к ним подходить. Почему-то это было унижительным. Он вообще старался не попадаться им на глаза.

Проходя мимо загороженного сколоченными досками от опалубки входа в подвал, он услышал стук молотка. Перелез через ограду и стал спускаться вдоль шланга от компрессора. Нижние ступеньки оказались в воде, и Ясюченя пожалел, что не в резиновых сапогах. А утром в бытовке он еще удивился тому, что калининградцы одевают резину: это в такой-то мороз! Он осторожно боком присел на нижнюю незатопленную ступеньку. Отсюда видна была вся камера. Тюрин, согнувшись втрипогибели, наполовину влез в выдолбленную дыру и оттуда торчал только его зад, казавшийся массивным в ватных штанах.

В углу на куче мусора и бетонного щебня, с незатопленной и относительно сухой верхушкой, спал Иванов. Спокойно, будто не было грохота молотка, усиленного бетонными стенами десятикратно. Ясюченя позавидовал.

Он взял маленький камешек и кинул в зад Тюрину, но не попал. Пока подыскивал другой, Тюрин закончил дрожать и стал выбираться из дыры. Молоток он оставил шипеть в ней. Оглянулся и, увидев Ясюченю, подошел, осторожно ступая по воде. Она доходила почти до края сапог. Сел рядом.

– Там, наверху, Саидов приехал, – сказал Ясюченя. – Ходит.

– Хуй с ним.

Ясюченя протянул ему сигарету.

Тюрин посмотрел название.

– Гродненская «Прима». Ты что, посылку получил?

Ясюченя помотал головой.

¹ Химики – условно осужденные на стройки народного хозяйства

² двести шестая – 206 ст. УК РСФСР – хулиганство (с вариациями).

– Из старых запасов.

Тюрин снял рукавицу и обтер лицо рукой.

– Бетон, сука, наверное, марки шестьсот. Да еще в сырости стоял... Заебал вконец. У вас там что наверху?

– Уже ничего. Подмели, теперь хуем груши околачиваем. А чего у вас воду не выкачивают?

Тюрин пожал плечами. Он курил, пуская дым через нос, и пусто смотрел в серую стену.

– Выпить хочется, – вдруг сказал он. – До жути.

– Я писал домой. Должны прислать, – сказал Ясюченя. И добавил:

– Скорей бы уж молодых пригнали в роту.

– Не пригонят.

– Откуда ты знаешь?

– Ребят, командиров из карантина сегодня видел. Им уже объявили.

– Ебаный в рот! – сказал Ясюченя.

– Такие вот дела...

Тюрин бросил окурочек в воду. Он зашипел, дернулся в сторону и стал медленно кружиться на месте.

– Ладно, – сказал Тюрин, встал и пошел по воде к Иванову.

– Вы на обед-то собираетесь? – спросил Ясюченя, вставая. Когда вставал, в кобчике остро кольнуло. Но уже не так, как утром.

– А сколько времени? – остановился Тюрин.

– Около двенадцати. Я когда к вам шел, было без десяти.

– Ну, через полчаса смоемся. Слушай, я тебя все хочу спросить. А почему ты без бульбонского акцента разговариваешь?

– У меня мать русская. Да и жили мы раньше в Минске, а там никто по-белорусски не говорит. Учился в русской школе.

Он хотел сказать про институт, но не стал. Зачем? Лишние расспросы. Кому это здесь надо?

– Ясно, – сказал Тюрин и тронул Иванова за плечо. Тот поднялся, пошел к дыре и взял молоток. Он не сразу заработал, видимо, замерз конденсат, и Иванову пришлось несколько раз сильно ударить пикой в стену.

Тюрин устроился на куче и закрыл глаза.

Вокруг каждой тумбы была небольшая площадка с песком за железным бордюриком. На песок не сядешь – раскаленный, но на бордюр сесть можно было. Правда, он был острым, пережимал жилы, и ноги быстро затекали. Но можно было менять положение.

Тепло было сухим и пробирающим до костей даже через одежду. По телу пробежали приятные мурашки, и чувствовалось, как инфракрасные лучи выгоняют холод, накопившийся в теле с утра. Коварная штука. Хочется так сидеть всю жизнь, пронизанным жаркими сухими иглами. Закрыть глаза и сидеть, сидеть, сидеть... Уснуть. Не сможешь упасть. Тонкие, но крепкие лучи будут поддерживать тебя все время. Понемногу мурашки затихли, и осталась только истома, клонящая в вечный сон. Полудремотное состояние, спишь наяву. Очень приятно. Потом, когда прогреешься, как следует, выходишь на сорок градусов и не чувствуешь их. Кстати, о сорока градусах... Надо ведь на обед идти... Не хочется. Но надо. Можно понемногу думать о чем-нибудь. Тем более, что здесь не никогда не приходит в голову всякое дерьмо. Никакой хуйни. Только приятное. Медленное, плавное, тихое, философское. Надо на обед идти.

Ясюченя встал и поплелся к выходу, стараясь не расплескать по дороге тепло.

Он взял полный суп, несколько кусков белого хлеба и котлеты с макаронами. На компот, талона в пятьдесят копеек уже не хватило. А чаю не было.

Когда он доедал суп, подошли со своими подносами калининградцы и сели за его стол. Потом Тюрин пошел к раздаче, взял три стакана сметаны и три куса пирога. Пирог, это он так только у них, у вологодских называется, на самом деле это просто лепешка, намазанная сметаной и запеченная. Тюрин спокойно прошел мимо кассирши к столу. Та проводила его взглядом, но так и не поняла, заплатил он за них, или нет?

– На, – Тюрин подвинул по столу к Ясючене сметану и пирог.

– Как ты умудряешься?

– А что, тут до хуя ума надо? Пошел, да взял с наглой рожей.

– Спасибо, – сказал Ясюченя.

Тюрин поднял голову от тарелки и посмотрел на него пустыми глазами.

Иванов криво усмехнулся:

– Жри, пока не отняли.

– Я написал, – сказал Ясюченя. – Мне должны прислать выпивку.

Иванов кивнул, разламывая котлету вилок.

Тюрин снова поднял голову.

– Скажи тетке, чтобы посылку дома выпотрошила и принесла без ящика. Тогда Ахмедов не узнает, что там было? Сунешь ему в ебало колбасы, и все будет в порядке. А когда придет?

– Я не знаю. Должна вот-вот.

– И своим бульбашам не говори, – сказал Иванов. – Они что-то слишком начинают задницы чуркам лизать.

– Молодые пришли, – сказал Ясюченя.

Иванов и Тюрин обернулись.

– Жаль, что их не пришлют в роту, – сказал Ясюченя.

– Да, было бы полегче, – сказал Тюрин.

– Ни хуя. Пока не уйдут майские и Саидов, ни хуя не будет, – сказал Иванов.

«Еще полгода...» – подумал Ясюченя.

– Смотри, у половины уже старые шапки. Надо бы и нам разжиться.

Иванов махнул вилок:

– Все равно спиздят. А у тебя так чурки вместе с головой снимут. Угомонись.

Потом ели молча и быстро.

– У нас еще время поспать останется, – сказал Тюрин.

Когда пришли в бытовку, там уже спали химики и хохлы. Белорусов не было. Ясюченя бросил на пол старые фуфайки и лег. Он не успел заснуть, как пришли белорусы. Оба тут же повалились рядом с Ясюченей.

– Вы где были? – тихо спросил он.

– На ККЦ обедали, – сказал Лебединский.

– Нормально?

– Лепшей чим у гэтой.

– Яще й на смятану достало, – сказал Марусич.

– Суп гароховой з бульбой, шматок мяса з падлиукой и чай.

– А вот еще на сталепрокатном хорошо кормят, – сказал Ясюченя. – На наш талон можно набрать...

– Хватит вам про жратву! – зло, сквозь сон сказал Иванов.

Белорусы притихли.

Ясюченя вдруг почувствовал стыд. Жгучий, такой, что щеки и уши загорелись. Стыд, которого давно не чувствовалось. Он постарался уснуть.

Поспать удалось немного больше, чем хотелось. Не было работы, а переезжать на другой объект решили завтра с утра. Пока мастер с бригадиром решали, чего бы еще подмести, удалось поспать.

Потом подметали, убирали мусор и сидели возле продырявленной в нескольких местах железной бочки, набитой подожженным углем. Грелись. Тетки сплетничали, разложив на кирпичах свои необъятные зады. Химики послали за одеколоном и клянчили у теток мелочь на закуску. Ясюченя сидел возле стенки и смотрел через дыры на огонь. Калининградцы подошли к самому концу работы и успели только высушить над бочкой портянки, как пришел химик с треугольными флаконами «Кармен» за пазухой. Сказал, что за солдатами уже пришла машина.

«Лучше б она вообще не приходила», – подумал Ясюченя.

Полгода его преследовал страх перед возвращением в роту, и еще, наверное, всю жизнь будет преследовать. К этому он не мог привыкнуть.

В роте было холодно.

Ясюченя сидел на табуретке, не раздеваясь, и ждал команды на ужин. Было спокойно. Командир роты заступал на дежурство по отряду, и до отбоя мог не появиться.

Из умывальника вышел Иванов с мокрым торсом.

Ясюченя поежился.

Иванов отдал станок для бритья, сидящему рядом с Ясюченей, Бондарчуку и, стоя в проходе между койками, стал вытираться.

Ясюченя смотрел на него, и ему было холодно за Иванова.

– Вчера из дома пришло письмо от кореша, – сказал Бондарчук.

– Пишет, шо подруга выходит замуж.

Он говорил с мягким южным акцентом.

Ясюченя промолчал.

– Ну и хуй с ней, – сказал Бондарчук. – Не велика ценность. Все они – бляди.

Ясюченю всегда почему-то злили такие разговоры. Ему захотелось отойти от Бондарчука, пока тот не начал изливать свою злобу, но он продолжал сидеть, тупо глядя на блестящие из темноты прохода напротив стеклянные глаза Толстика. Тот быстро и размеренно что-то жевал.

Из умывальника вышел мокрый Тюрин и зашел в проход к Иванову. Они тихо и отрывисто переговаривались.

– Я ей на проводах съездил по харе, – объяснял Бондарчук. – По пьянке. Она уже тогда по сторонам косилась. Видишь, правильно сделал. Все они – суки. «Вы служите, а мы под дождем...» Их надо ебать, как врагов народа.

К Тюрину и Иванову подошел, воняющий мазью Вишневского, Кузьмин. Он ходил враскорячку. У него цинготные язвы, которые, в общем-то, были у всех, слишком уж разрослись и мешали ходить.

Ясюченя прислушался.

– Почему? – спросил Тюрин.

– Там таких, как я – до хуя.

– А Ваня? – спросил Иванов.

– А что, Ваня? Он бы положил, но не от него зависит. Освобождение, – сказал Кузьмин.

«В роте его заебут», – подумал Ясюченя.

– Ты вот что, – сказал Иванов. – Ты лучше не показывай его никому. На работе мы тебя как-нибудь прикроем.

Кузьмин промолчал.

– Слышишь? – спросил Иванов.

– Ладно, – сказал Кузьмин. – Посмотрим.

– Приду домой, – сказал Бондарчук. – Буду их ебать, как врагов народа.

Ясючене надоело его слушать, он встал и вышел на веранду покурить.

Кучкой стояли хохлы и переговаривались на своем прикарпатском диалекте. Ясючене они тоже были неприятны, и если б было немного теплее на улице, он бы лучше пошел прогу-

ляться по отряду, зашел бы в третью роту к Янушкевичу. Все-таки, знал его до армии, общие знакомые.

Он не успел докурить, стали выходить из казармы на ужин.

Давали мойву с утренним силосом.

Потом было «личное время».

Ясюченя написал письма – матери и в Минск – Светке. Куцые, выхолощенные письма. О чем писать? Мать-то устроит: все хорошо, поправляюсь, морозы, как там у вас? А Светке? Институтские дела ему неинтересны, на общих друзей наплевать. О чем писать? О Мамедове? Да и Светка... Какими-то чужими они стали. Все, что было, превратилось в далекое и ненастоящее. Ему даже казалось, что он читает письма, не ему адресованные. Чужие письма. Хотелось написать в ответ какую-нибудь гадость, чтобы больше не получать чистеньких сытеньких строчек. Но он не решался. Писал то, что принято, или то, что считалось принятым, и знал, что и она чувствует неестественность, и все-таки ждал от нее "люблю-жду-целую". И получал. И долго не вскрывал конверт, затаскивая его в кармане, борясь с искушением выбросить. И потом, открыв и проглотив порцию "люблю-жду-целую", решал подтереть им задницу. Но, придя в туалет, он выкидывал письмо неиспользованным. Что-то мешало ему сделать это.

Ясюченя сходил к почтовому ящику, бросил письма и постоял немного возле земляков из третьей роты. Они рыли яму, долбя землю кирками, и выгребая понемногу мерзлые комья совковыми лопатами. Командира с ними не было, и они работали лениво, часто перекуривая. Рассказали Ясючене, как у них в роте на чердаке две недели жила баба из местных, и как молодые, таская жратву и чайники с водой – подмываться, тоже успевали попользоваться ею. Потом старики совсем перестали ходить на чердак, и два дня, пока они не сообразили, что туда бегают салаги, баба еще просидела на чердаке. Чего только не делали с ней, за эти два дня! Потом голую в одном рваном бушлате выгнали ночью из отряда. Говорят, ее подобрал соседний отряд.

Ясюченя поржал вместе с ними и пошел к себе. Его могли хватиться, было уже поздно.

На веранде стоял брат Саидова из пятой роты Байали Саидов – красивый стройный чеченец, ингуш Магометов – его прозвали Петухом, за выдающуюся килем грудную клетку, и Иванов.

– Ну, обыскать-то тебя я могу... – сказал Байали.

– Попробуй, – сказал Иванов, отступая на шаг к стене.

– Ты что, салабон! – взвизгнул Петух, подскочил к Иванову и ударил его, но тот увернулся.

– ...! – что-то резко сказал Байали по чеченски.

Петух отошел в сторону.

Байали усмехнулся и ушел. Петух засеменял за ним.

– Что? – спросил Ясюченя Иванова.

Иванов посмотрел сквозь него, достал сигарету, закурил. Пальцы у него подрагивали.

Из казармы выскочил Тюрин.

– Все в порядке, – сказал Иванов.

Потом вышел в раскорячку Кузьмин и спросил:

– Что случилось?

– Все в порядке.

– Ебаные скоты! – выругался Тюрин. – Пусть только уйдут майские. Ну, подождите, суки!

– Ладно. Все в порядке, – еще раз повторил Иванов.

Ясюченя почувствовал себя лишним и проскользнул мимо них в казарму.

По телевизору показывали документальный фильм. Молоденькие, свеженькие, причесанные девочки и мальчики откровенничали перед камерой. Девочки хотели любви. Такой, чтобы дух захватывало, чтобы не спать по ночам, и чтобы за них стрелялись на дуэлях. Хоро-

шенькие, гладенькие девочки хихикали и скромно водили подкрашенными глазками по сторонам. Ясюченя раздевал их и представлял на чердаке. Мальчики мечтали о самопожертвовании ради идеи и дружбе до гробовой доски, и рассуждали о моральных качествах настоящих мужчин, задумчиво при этом ероша свои аккуратные прически.

"Давай, давай..." – думал Ясюченя, – "Шевели извилинами, распускай перья, пока я не заставил тебя свои портянки стирать. Порезвись перед добрым психологом, пока тебе еще нет восемнадцати".

Перед самым телевизором сидел, похожий на большую добрую обезьяну, даргинец Меджит. Он в упор смотрел на экран, держа огромную, как лапа ступню возле лица, сдирая с нее кожу, зараженную грибок, и бросал лоскуты на пол. Потом долго и сосредоточенно разглядывал красные пятна голого мяса, и снова поднимал тоскливые глаза к телевизору. Время от времени кто-нибудь выкрикивал:

– Меджит!

– Что? – спрашивал он.

– На дороге хуй лежит? – восторженно кричало сразу несколько голосов, и потом все смеялись.

У него было невероятных размеров мужское достоинство. Говорили, когда еще только отряд переехал в Череповец, и питался в гражданской столовой, свою строили, Меджиту удалось завалить на мешках с картошкой повариху – химичку. Но, как только он вытащил из штанов все свое хозяйство, повариха стала кричать и звать на помощь, а потом вырвалась и убежала. Говорят, дома до женитьбы они занимаются любовью с ослицами – ишачками. Тех такой Меджит, наверное, устраивал, но женится же он когда –нибудь! Интересно, как это переживет его жена?

Документальный фильм завершился тем, что и девочки, и мальчики, решили всю свою жизнь придерживаться принципов «морального кодекса строителей коммунизма», и воспитывать в себе стойкого борца за лучшее будущее. Сразу после этого началось «Время». Старики и ефрейторы стали сгонять молодых на просмотр. Ясюченя сидел, привалившись плечом к перилам кровати, и смотрел, как Талипов, который чуть не помер от страха, когда увидел паровоз, куда его пытались впихнуть, чтобы отвезти в армию; который так и не выучил ни одной буквы русского алфавита, пинками гонит к телевизору Скорнячука, с его университетским образованием.

Положили спокойно, без скачков. С полами управились быстро.

Ясючене досталась веранда. Это лучше, чем драить зубной пастой краники в умывальнике. Только холодно. Горячая вода, налитая на деревянный пол, тут же покрывает его коркой льда, и надо мыть почти сухой тряпкой, чтобы потом не скоблить лед. После веранды вода очень грязная, и нужно бежать в одном нательном белье за роту и там выливать её. Брызги на теле тут же схватываются льдом. Схватываются и язвы на ногах. У Ясючени их было немного и небольшие, с трехкопеечную монету, но они мокли и гноились, и мороз успевал их прихватить, пока бежишь за роту и назад. Немного болел кобчик, но не сильно, терпимо.

До одиннадцати управились.

Ясюченя даже посмотрел конец фильма по телевизору, Понять все равно ничего нельзя было, из-за того, что не видел начала, и воплей стариков.

Те изощрались друг перед другом в остроумии.

Потом выключили свет, и рота понемногу затихла.

Ясюченя еще не спал, когда голос Саидова рявкнул:

– Подъем!!!

Он стоял, пошатываясь, со злобным лицом и мутными глазами. Усы его были мокрыми от растаявшего пара. Бражный дух расплзся по казарме.

– Окабанели?! Ублюдки!!!

Ясюченя почувствовал дикий страх и желание раствориться, исчезнуть.

«Только б не меня!»

Ну, почему он не стоит в задней шеренге?!!

Саидов неверным шагом прохаживался вдоль строя. За ним, ухмыляясь, шатался Ногаев.

– Сгною!!! – проревел Саидов. – Отбой!!!

– Подъем!!!

– Отбой!!!

– Подъем!!!

– Отбой!!!

Прыгали уже минут пятнадцать. Это могло продолжаться еще столько же. Потом кто-нибудь падал и не мог подняться. Его били, и на этом скачки заканчивались.

"Еще немного, – думал Ясюченя. – Еще немного продержаться и все".

Он уже ничего не видел и не слышал, в ушах бешено колотилась кровь, и только по тому, как исчезает тень рядом с ним, он понимал, что надо прыгать вверх.

Левая нога на перила нижней койки, правая на перила своей, тело перебрасываешь через перила, и – лицом в подушку. Не двигаться. Хоть какие – то доли секунды отдохнуть. Тень рядом метнулась к потолку! Резко переворачиваешься на кровати, руками за перила, и – вниз. Вниз – легче. Он уже два раза падал, но от страха, что сейчас начнут топтать, поднимался.

И снова:

– Отбой!!!

Левая – на перила нижней, правая – на перила своей...

– Подъем!!!

Все, он уже не успевает броситься в постель... Плохо...

– Отбой!!!

Левая – на перила нижней, правая – на верхние, лицом в подушку... Секунда, другая, третья... В чем дело? Неужели, конец?

Ясюченя перевернулся на спину, прислушался.

– У тебя что, падла, ребра лишние?

Кого это он? Ясюченя свесил голову с кровати, но тут же получил пятерней Мамедова с нижнего яруса по глазам. Тогда он просто отвел голову в сторону.

Саидов стоял перед Кузьминым.

– Отбой!!! – завизжал Саидов.

Кузьмин не шевельнулся.

Саидов резко размахнувшись, ударил его, и Кузьмин принял удар на грудь.

"В сердце метил", – подумал Ясюченя.

Кузьмин не упал, только оступился немного назад.

Потом все произошло очень быстро, так, что Ясюченя ничего сразу и не понял. Прямо из-под Ясючени к Кузьмину метнулась тень – потом она оказалась Мамедовым – с клещами в руках, такими клещами, которыми делают скрутки на арматуре, и ударила Кузьмина ими в лицо. Голова Кузьмина откинулась назад, на перила верхнего яруса. Изо рта широкой черной полосой хлынула кровь. Мамедов снова размахнулся, но ударить не успел, вдруг появилась чья-то нога и ударом в лицо опрокинула Мамедова на пол. Потом Ясюченя видел, как, стоя спиной к стене, голый по пояс Тюрин отбивается от толпы чеченцев; как замахивается табуреткой Кузьмин в залитой кровью нательной рубахе; как блестит в руках Ногаева длинная железяка; как бежит через казарму, со вздувшимися желваками на скулах, Иванов; и как он вдруг оброс черными лохматыми, скалящими зубы, телами; как медленно, будто повтор в футболе, падает с высокой тумбы, телевизор.

Разом как-то все стихло.

Потехин

Скорбное путешествие молодого кёнигсбержца на юг Российской империи

Его разбудили огни в реке. Вернее, отражение их у правого берега Днестра. Они были еще далеко и бежали по течению вместе с автобусом длинной гирляндой, вытянувшейся вдоль берега и исчезающей на юге, за излучиной там, где светлело небо. Правее от гирлянды мерцала густая россыпь, она волновалась складками в местах, где были холмы и вдали у неба, круто изогнувшись, уходила вверх, сливаясь с затухающими звездами.

От отрочества его отделяла ширина реки. Он мог бы остановить автобус, переплыть реку и оказаться на том берегу. Но у него был чемодан. Полный чемодан скорбного благоразумия. На том берегу он мог бы его бросить, но только на том. И река была шириной в двадцать лет.

Остановка называлась Бычок. Потом будет болгарское село Парканы, из него Бендеры еще видны, но после автобус круто свернет от реки влево, и пойдут пригороды Тирасполя – совхоз-техникум, военные части...

Андрею надо было дожидаться шести часов, чтобы вернуться на эту дорогу, не доезжая Бычка, въехать на мост и по нему – к огням. Впрочем, огней не будет. Здесь светает раньше, чем в Пруссии.

Когда-то в Парканах у него жила знакомая с красивым именем Эмилия.

По Тирасполю автобус почему-то ехал долго, с множеством остановок. Входили и выходили люди. Когда Андрей выбрался, наконец, из автобуса, несколько раз вдохнул холодный морозный воздух. Но от свинцовой тяжести в голове и бензинового привкуса во рту не отделился. Сходил на вокзал, ополоснул лицо водой из-под крана. Ему немного полегчало, и захотелось есть. Он поискал буфет на железнодорожном и на автовокзале, но все было закрыто. Тогда пошел по рельсам подальше от станции, достал бутылку с коньяком и, присев на чемодан, отпил немного. Есть захотелось еще больше, но голод перестал быть сосущим. Его уже можно было терпеть. Коньяк был неважным, но Андрей никогда не испытывал неудобств по этому поводу. Он только пожалел, что съел вчера все плаинды и ничего не оставил на завтрак. Был некрепкий, но непривычный сухой мороз, и горячая волна от коньяка, прошедшая по телу, подоспела кстати. Немного мерзли руки, и он, зажав бутылку коленями, сунул кисти подмышки. Потом подумал, что бутылка может выскользнуть и разбиться, и поставил ее на окаменевшую, припорошенную мелким снегом, землю.

Так он просидел часа полтора или больше.

Когда вышел на привокзальную площадь, там уже стоял Бендерский автобус. В нем было холодно. Холоднее, чем на улице. Андрею пришлось зайти за ближайший киоск и подкрепиться коньяком. Выйдя из-за киоска, он обнаружил, что тот работает. Но, кроме печенья и сморщенных, окаменелых пирожков, там ничего не продавалось. Купил пачку печенья, съел ее, и пришлось еще раз зайти за киоск, чтобы запить. Только после этого он влез в автобус и купил билет у толстой, закутанной во множество одежд, кондукторши.

Сел у окна и стал смотреть в него.

Он был немного пьян и ждал легкости, но та не приходила. Было тоскливо и одиноко.

Автобус выехал почти пустым, но по мере движения через город в него набились люди. В конце концов, пришлось уступить место тетке с плетеными корзинами. Эти корзины потом были везде. Они сбивали с Андрея шапку, царапая кожу на голове, они толкали его в бок, впивались в ноги. Изогнувшись, повиснув одной рукой на поручнях, он проехал всю дорогу, не видя ее за горами корзин. Но, когда автобус загрохотал по мосту, проделал щель между прутьями корзин и увидел бледную стену старой турецкой крепости.

В этой крепости когда-то жила гигантская жаба-людоедка. По ходам катакомб она пробиралась в город, по трубам канализации – в квартиры и там жадно пожирала маленьких детей.

Катакомбы были под всем городом. Кто их вырыл – неизвестно, но иногда в городе проваливался под землю то трактор, то автомобиль, и все бежали смотреть на открывшийся новый лаз. Часто в катакомбы уходили экспедиции мальчишек. Случалось, кто-то не возвращался. Поэтому все вновь открывшиеся лазы взрослые спешно закидывали мусором и бетонировали. Но где-то за городом находился новый лаз, и в нем опять исчезали мальчишки.

Однажды они сидели на краю одной из таких дыр, и Рыжий, поплеывая в нее, сказал:

– Раньше оттуда доносились такие крики: «а-а-а-а...» – высоко и с хрипом закричал он.

Все посмотрели в темноту дыры.

– Я знаю, – сказал Женька Бехтерев. – Мне отец говорил. Это молдавские большевики, которых замучили румыны.

– Не-е-е, – сказал Рыжий. – Это гайдуки, которых турки вешали на крюк за ребра.

– А еще им отрезали яйца, – сказал Андрей, считая себя самым начитанным. – И растягивали на колесе. Колесовали. Я знаю, – сказал он. – Я читал.

Андрей хотел еще рассказать из того, что вычитал про гайдуков, но тут все услышали протяжный звук, который родился в недрах катакомб и креп, приближался, и вдруг рванулся снизу к ним в лица...

– А-а-а...!!! – хрипло и жутко взвыло из-под земли. – А-у-а-у-а....

Андрей вышел из автобуса и тут же, неподалеку, сел на скамейку покурить. Надо было придумать, куда девать чемодан. Таскать его за собой или сунуть в камеру хранения? Неизвестно, приютят ли его? Должны бы приютить, но все-таки...

Рядом на скамье сидел старик в смушковой папаше и драповом пальто, из-под которого виднелась расшитая черным узором белая овчинная телогрейка. Несмотря на седую недельную щетину, старик сильно напоминал кого-то. Он искоса присматривался к Андрею, потом спросил:

– Кыт'е оара?³

Андрей молча показал глазами на висящие на бетонном столбе, поддерживавшем навес, часы.

Старик еще что-то спросил. Андрей не расслышал, да и все равно не понял бы.

– Ну штиу⁴, дед, – сказал он.

И вдруг вспомнил, как звучит «дед» по-румынски.

– Не супранте⁵, барбарь⁶, понимаешь?

Потом встал со скамейки и прошел мимо деда в здание автовокзала. Там, на втором этаже должна была быть столовая.

В столовой подавали кальмары. Все, что местные повара сообразили с ними сделать, это – вырвать ноги. Кальмары так и лежали на тарелках – неразрезанные, с торчащими хордами, едко фиолетового цвета оттого, что их варили вместе со шкурой.

Стоя в очереди, он попытался объяснить раздатчице, что нормальные люди, перед тем как что-то готовить, обрабатывают продукт. Иначе, объяснял Андрей, его нельзя потреблять в пищу. Его обругали. Женщина, которая опрометчиво взяла кальмары, посмотрела на Андрея и на раздатчицу, и положила тарелку обратно. Повариха хлопыстнула половник в кастрюлю, обрызгав покупателей желтым соусом, показала из распахнутого халата злой атласный лифчик, и ушла. Покупатели поглядывая на кассиршу, стали бубнить. Та сидела, сердито сдвинув кра-

³ Сколько времени? – рум.

⁴ Не говорю – рум.

⁵ Не понимаю – лит.

⁶ Дед – рум.

сивые черные брови, но признаков раздражения не проявляла. Она была молодой и красивой – черная прядь кокетливо завивалась за маленьким розовым ухом – и еще не успела возненавидеть покупателей.

Скоро пришла другая раздатчица. Убрать кальмары они и не помышляли.

– Хорошо, хоть сварить додумались, – сказал Андрей кассирше.

Взял рубленную свиную котлету с макаронами и два стакана какао.

– Почему у вас нет мамалыги? – спросил у кассирши. – Я двадцать лет мечтал поесть мамалыги. И брынза! Ее у вас тоже нет. Это очень странно.

– Не знали, шо ты придешь! – закричала новая раздатчица. – Если б знали, то купили бы на базаре и брынзу, и мамалыгу, и хрен тебе с маслом.

– Дура, – устало сказал Андрей.

На самом деле ему хотелось вовсе не мамалыги. Он, действительно, иногда мечтал о ней – горячей, с подсолнечным маслом и мелко раскрошенной брынзой, с баклажанной икрой, сдобренной луком и кусочками помидоров. Но сейчас неожиданно пришло острое желание бесхитростных цеппелин. Он бы много отдал, чтобы появилась возможность заказать кружку пива, стакан сметаны, и порцию цеппелин. И больше ничего не надо. Только несколько тонких ломтиков черного кисло-сладкого хлеба с тмином. И больше ничего.

Он ел жидкую котлету из рубленого сала и думал; вот я сижу тут, и есть у меня немного денег, и все здесь вроде не чужое мне, но что же мне так тоскливо?

Чемодан сдал в камеру хранения. Волочить его за собой не было никаких сил. Бутылку с коньяком положил в пакет с рекламой таллиннского «Марата», туда же сунул пару пачек привезенной с собой «Элиты». Кишиневские сигареты лучше рижских, и курить Андрей собирался местные, а «Элиту» думал отдать кому-нибудь в качестве сувенира. Латинский алфавит производил на местных жителей магическое действие. В изнуренных дефицитом мозгах, мелькали картинки западного образа жизни.

По дороге к центру города, неподалеку от автовокзала, когда-то был отличный винный подвальчик. Он подумал, что неплохо бы пропустить сейчас полтора стакана красного вина и потом уже отправиться по друзьям и воспоминаниям.

Вина не досталось. Дверь подвальчика была заколочена, поверху густо закрашена суриком, и у ее подножия, среди всякого бытового мусора, коченели две кучки испражнений. Он успокоил себя тем, что если б подвальчик и работал, то все равно было слишком рано.

Дома в этом городе были когда-то белыми из котельца и под сахарные бока их поддерживали пирамидальные тополя у подъездов, а по белым телам струились зеленые потоки виноградных лоз. Теперь все выглядело облезлым и замерзшим в пыли. Изжелта-серые дома, ссутулившись, хмуро смотрели хрущевскими маленькими глазами на серый асфальт пустых улиц, на редких озлобленных прохожих.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.